

Вит. Василевский

СЕРДЦЕ
победителя



ЛЕНИЗДАТ

1945

Л30 Г-1
362

ВИТАЛИЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

СЕРДЦЕ
победителя

РАССКАЗЫ

*Ленинградское
газетно-журнальное и книжное издательство
1945*



ОФИЦЕРСКАЯ ДРУЖБА

1

Они встретились на фронтовых стрелково-пулеметных курсах летом тысяча девятьсот сорок второго года.

Случайно их зачислили в один взвод, и три месяца старшие лейтенанты Иван Эльяшев и Виктор Вербицкий сидели на одной парте в учебном классе, их койки в кубрике, а винтовки—на пирамиде стояли рядом.

В часы отдыха они сидели в конце коридора второго этажа у окна, курили и беседовали с той откровенностью, какая возникает между мужчинами, когда они не уверены, что им доведется еще раз в жизни встретить друг друга.

Эльяшев был черным, ноздрястым, худым парнем. Он рассказывал, что однажды на школьном спектакле в какой-то пьесе он изображал без грима турецкого пирата. Ему было двадцать три года, и жизнь его была необычайна. Шести лет он поступил в школу, сразу во второй класс и учился пре-

восходно. Семнадцать лет он с отличием кончил школу и поступил в авиационное училище. Он был так силен в ту пору, что двумя пальцами поднимал двухпудовую гирию. Доктор говорил, что Эльяшев „двухсердечный“. Учился Иван Эльяшев жадно, напористо. Ему еще и восемнадцать лет не исполнилось, а он уже летал на „У-2“ по трассе Тамбов—Ульяновск.

Из авиационного училища Эльяшева отчислили за озорство. С бреющего полета он обстрелял из пулемета холостыми патронами работающих на поле колхозников. Одна шестидесятилетняя старуха едва не умерла от испуга. Получив жалобу председателя колхоза, начальник училища вежливо предложил Эльяшеву купить в ближайшем магазине штатский костюм, шляпу и галстук. Эльяшев не захотел покидать армию и поступил в кавалерийскую школу. На первом же занятии он упал с лошади. Обидевшись, он решил пойти в пехоту.

Виктор Вербицкий и Эльяшев часто ссорились и это удивляло офицеров. Вбегая в таких случаях в кубрик, Эльяшев презрительно говорил, что с этой „архивной крысой“ он больше не имеет ничего общего. Через час можно было видеть, как они, стоя у окна, курят и мирно беседуют. Виктор Петрович говорил серьезным, наставительным тоном, а Эльяшев густо сопел и отворачивался.

Незадолго до выпускных экзаменов между ними также произошла „товарищеская дискуссия“, как, улыбаясь, объяснил курсантам Виктор Петрович.

Впрочем, она повлияла на их отношения в дальнейшем самым благоприятным образом.

В часы самоподготовки они чертили схему: батальон в обороне. Объявили перерыв. Захлопнув книгу, Вербицкий потянулся, сочно зевнул и заявил, что ему надоело заниматься „охраной флангов“ и „сторожевыми постами“.

— Я — научный работник, — сказал Виктор Петрович. — Я — историк. В шесть часов вечера после окончания войны я сниму форму, надену синюю рубашку с отложным воротничком, повяжу галстук и пойду в Публичную библиотеку.

— Значит, ты не хочешь воевать? — удивился Эльяшев.

— Конечно.

— Значит, ты по принуждению воюешь? — строго спросил Эльяшев, и его тощее с впалыми щеками и твердым, хрящеватым носом лицо потемнело.

— Разумеется, — лениво усмехнулся Вербицкий. — Я — штатский человек. Я себя хорошо чувствую лишь в библиотеке, в архиве, в своем кабинете за письменным столом. Лампа под зеленым абажуром. Книги! — он густо вздохнул и, вытащив портсигар, сказал: — Дай, пожалуйста, спички...

— Подожди, подожди, — медленно сказал Эльяшев. В этот момент он напряженно думал. Виктор Петрович учился на курсах отлично. Правда, из-за близорукости он скверно стрелял. Разумеется, Эльяшев не мог обвинять его за это. — Значит, ты не-

доволен, что тебя послали на курсы? — неожиданно спросил он, широко разводя руки.

— Именно.

— Ты не хочешь учиться военному делу?

— Должен. И свой долг выполняю. А где-то здесь, в душе что ли, ощущаю: не хочу. Сердце не лежит...

Эльяшев встал, с отвращением взглянул на разомлевшего от жары Виктора Петровича, отрывисто сказал:

— Мне, кадровому командиру, противно слушать такую болтовню!

Он быстро вышел, но задержался в дверях и, обернувшись, крикнул:

— Архивная крыса!

Если бы он увидел снисходительно добрую улыбку Виктора Петровича, то обиделся бы еще сильнее.

В коридоре он встретил лейтенанта Виленчука.

Виленчук отличался крайней молчаливостью. Он три года зимовал на острове Уединение. Полярники подсчитали, что за эти три года Виленчук произнес две тысячи восемьсот тридцать четыре слова.

— Ты знаешь Вербицкого? — обратился к нему Эльяшев.

Виленчук вынул изо рта трубку, посмотрел вопросительно на Эльяшева, снова сжал зубами мундштук трубки и ничего не сказал.

— Ну, Виктора Вербицкого, моего соседа, — сказал Эльяшев. — Я так хорошо думал о нем...

Понимаешь, он говорит, что воевать не хочет. Архивная крыса!

Виленчук открыл рот, хотел что-то сказать, но вместо этого засопел трубкой и пошел дальше по коридору.

— Да постой! — рассердился Эльяшев. — Ты же с ним из одной дивизии.

— Да, — сказал Виленчук и остановился.

— Расскажи!

— Он в августе прошлого года добровольно ушел рядовым в народное ополчение. Он кандидат исторических наук. Под Волосово он командовал батальоном. Он умный.

Видимо Виленчуку стоило немало труда говорить так долго. Он вытер платком влажный лоб и несколько раз вздохнул.

Изумленный Эльяшев растерянно глядел на него, раздувая широкие ноздри твердого, приплюснутого носа.

За ужином Виктор Петрович сделал вид, что ничего не случилось. Сидя рядом с Эльяшевым в столовой, он аккуратно ел пшеничную кашу, пил со вкусом жидкий чай и беседовал с лейтенантом Шаповаловым об архитектуре Ленинграда.

— Во всех городах существуют отдельные здания, — оживленно говорил он. — Иногда хорошие. Чаще всего бездарные. Лишь в нашем городе есть архитектурная симфония. Гейне говорил, что архитектура — окаменелая музыка. Когда я вспоминаю набережную Невы или улицу Росси, я слышу тор-

жественно стройные звуки последней картины „Ивана Сусанина“.

Эльяшев точно не знал, можно ли употреблять слово симфония в разговоре об архитектуре. Он злился. Понимал, что глупо злиться из-за этого и все же настойчиво думал: „Вот ты какой ленинградский историк, магистр изящных наук, чорт тебя раздери! Батальоном командовал под Волосово. Может быть, ты смеешься надо мною. У меня и высшего образования нет“. Он залпом выпил остывший чай.

— А что такое симфония? — грубо спросил он и, раздувая ноздри, с потемневшим от волнения лицом посмотрел на сидящих за столом офицеров.

Не глядя на него и обращаясь как будто к Шаповалову, Виктор Петрович мягко сказал:

— Симфония — это...

— Встать! — раздалась громкая команда.

Офицеры построились и, гремя тяжелыми сапогами, пошли в помещение роты.

2

Из дневника Виктора Вербицкого

10 августа 1942 г.

Отступление. Боль расставания с русскими городами и селами — есть ли в мире горечь тяжелее этой?! Я вспоминаю Гдов, Лугу. Мы уходили... Мы целовали родную землю, мы брали горсть земли, соленой от пота наших отцов и дедов, и зашивали ее в ладанки.

Вчера моя рота отступала. Правда, это было на тактических занятиях. Но мне невольно вспомнились эти скорбные дни осени прошлого года. Моя рота, цепляясь за линии мелиоративных канав, уходила к реке. Через реку был переброшен деревянный мост. Кусты лозняка росли на отлогом берегу. Моя рота прикрывала отход полка на новый рубеж. Верю, — никогда в бою мне уже не придется прикрывать отход полка...

Солдаты, то есть наши курсанты, бежали, камнем падали на сухую землю, стреляли из винтовок и пулеметов. Мутная пелена пыли висела в знойном воздухе. Я лежал на куче песка и глядел в бинокль на березовую рощу. Там был „противник“, которым командовал Ваня Эльяшев. Там глухо гремели минометы и трескучие очереди станковых пулеметов надоедливо растекались волна за волною по долине.

Моя рота отступала. Я знал, что солдаты измучены долгим маршем по солнцепеку. Я знал, что на взвод Кузьмина „противник“ обрушил бурю огня. Пусть это условно. Мне надо было наглядно вообразить это, чтобы правильно управлять „боем“. Взвод Кузьмина держал третью линию канав. Его бойцы вынесли то, что, казалось, не могли вынести люди. Как яростно, как упорно атаковала этот взвод рота Эльяшева! Но Кузьмин прислал мне со связным записку: „держусь“. Если бы тогда, под Волосово я получил от Михальцева такую записку...

Мне нужно было продержаться еще полчаса. Не больше. Я приказал третьему взводу под „огнем“

станковых пулеметов отойти к песчаным холмам. Я послал два расчета бронбойщиков на левый фланг: там было шоссе и могли пройти танки „противника“. Ротные минометы неустанно швыряли мины в рошу. Солдаты Эляшева откатывались. Шквальный „огонь“ тяжелых минометов кромсал и громил мою роту. Вновь атака! Какая по счету?

Я посмотрел на часы. Еще 20 минут. Взвод Кузьмина держал мелиоративные канавы. Это был страшный „бой“, но рота устояла...

Неожиданно позади раздалась дикая „стрельба“. Конечно, трещотки загремели... Я оглянулся и выронил бинокль. По берегу реки, среди лозняка бежали к мосту автоматчики Эляшева!

Посредник объявил отбой. И в самом деле — все понятно. Я проиграл „бой“, проиграл глупо, постыдно! Посредник — умный, насмешливый полковник. Его дивизия хорошо дралась с немцами в Эстонии. После тяжелого ранения ему пришлось покинуть строй. Он преподает у нас тактику. Он потолстел. Знакомые букинисты с Литейного подбирали ему книги по истории наполеоновских войн.

Разрешив курсантам сесть на землю и курить, полковник заговорил. Я записываю его речь подробно, ибо мне еще надо думать над нею не только в отношении чисто тактических вопросов, но и моего характера.

„Мост. Старшему лейтенанту Вербицкому надо задержать „противника“, затем „взорвать“ мост и закрепиться на противоположном берегу. Старшему

лейтенанту Эляшеву надо захватить мост, обеспечить переправу своего полка через реку. У офицера, дружка, должно быть богатое воображение. Что это значит? Это значит, что он, в зависимости от местности и обстановки на поле боя, обязан вообразить характер своего противостоящего врага и этим разгадать его замыслы. Это — трудно. Это — очень трудно. А разве я, товарищи офицеры, когда-либо говорил, что воевать легко? Но ведь — то война! На тактических учениях все это несравненно доступнее и легче. Вы же знаете друг друга. И вот Эляшев, а я был в его роте, мне прямо говорит: Вербицкий расчетлив, упорен, умен, — в лоб его не возьмешь. И все фронтальные атаки Эляшева были явной демонстрацией. А решил он обходным маневром по оврагам бросить автоматчиков и захватить мост. Этот маневр он провел блестяще! Старший лейтенант Вербицкий отлично оборонялся. Но я удивлен: почему он, зная смелость и... лихость (мне показалось, что полковник чуть заметно улыбнулся) и боевой опыт Эляшева, поверил, что тот ограничится фронтальной атакой...»

А Ваня Эляшев, заломив пилотку и выпустив на лоб тщательно расчесанный иссиня-черный чуб, лукаво и, пожалуй, хвастливо улыбался.

Вероятно, я на его месте тоже бы улыбался...

3

В августе тысяча девятьсот сорок второго года Эляшев и Вербицкий окончили с отличными отмет-

ками стрелково-пулеметные курсы. Их назначили в Н-ский стрелковый полк. На выпускном обеде они выпили на брудершафт по сто граммов водки.

— А признайся, Ваня, ты сердился на меня? — спросил Вербицкий.

— Я ничего такого не сказал! — крикнул Эльяшев.

— А все же сердился.

— Вот чудило! Говорю: я не знал, что ты командовал батальоном.

— А если бы не командовал? — удивился Виктор Петрович. — Я старше тебя, Ваня, на двенадцать лет, — полное, розовощекое лицо Вербицкого сделалось печальным. — Ну, водка вся! — с притворным огорчением заявил он.

— Сейчас достану, мне предлагала сторожиха, — сказал Эльяшев.

Он исчез и быстро вернулся. Карман его синих брюк сильно оттопыривался.

— Выпьем! — сказал он. — Выпьем, Виктор Петрович, милый ты человек и командир батальона, чорт тебя раздери! Выпьем, архивная крыса! А твою роту я у реки уничтожил! — злорадно рассмеялся он. — Что?

— Да, тут я ошибся, — просто сказал Вербицкий и медленными глотками выпил полстакана водки. — Фу, гадость, — дунул он, морщась. — Ты, Ваня, запомни одно: книги надо тебе читать, мало ты читал на своем веку.

— Я сын батрака! — крикнул, багровея, Эльяшев. Он понимал, что получится глупо, но уже не мог

удержаться.— Я до шестнадцати лет землю пахал в колхозе, когда вы, Виктор Петрович, читали романы Дюма и кушали пирожное эклер!

Стул загремел. Быстрыми шагами он вышел из столовой.

Крепко поглаживая ладонью мягкую щеку, Вербицкий смотрел ему вслед, и у него было растерянно-недоуменное выражение лица, как у мальчика, который разобрал игрушечный паровоз, а собрать его не умеет.

4

На другой день они поездом доехали до станции П. Песчаная дорога вела к передовым позициям через лес. В лесу было прохладно даже в такой жаркий день. Паутинки плыли в синеющем среди сосен воздухе.

Эльяшев, расстегнув ворот гимнастерки и сняв пилотку, размашисто шагал по обочине. Не поспевая за ним, Виктор Петрович часто останавливался, тяжело отдувался, вытирал платком жарко лоснящееся от пота лицо.

Они помирились вечером. Вербицкий при встрече опять сделал вид, что ничего не случилось. А Эльяшеву было бы легче, если бы Виктор Петрович отругал его. Сейчас он чувствовал себя смущенным, но это не мешало ему оживленно рассказывать о том, как он взял в плен немецкого солдата, чемпиона Баварии по боксу в тяжелом весе.

— Доползли мы до бруствера немецкой траншеи, я и Вася Алейников, мой боец. Глянул я на часы: двадцать один ноль ноль. Прошли благополучно минное поле, проволочные в три кола заграждения, рогатки, спираль Бруно. Спасибо саперу Дружинскому, — быстро сделал проход. Очень рискованно было переходить через шоссе. Ведь ночью камни светлее, чем земля. Ну, обошлось, не заметили...

„В левой руке держу противотанковую гранату, в правой — дубинку. Небо темное, низкое, как потолок в землянке. Тихо. А если наугад пальнет в темноту немецкий часовой или мина шмякнется, то ведь это не в счет. Понимаешь? А потом дождь пошел. Лежим. Крупные, холодные капли так и барабают по спине. Чу, шлепают тяжелые сапоги по лужам. Три немца идут по траншее. Подошли. Я приподнял гранату, нацелился. И понимаешь, — Эляшев вытаращил глаза и зловещим шопотом продолжал, — задел обшлагом за предохранительную чеку гранаты. Она сломалась. Видно, железо заржавело... Боевая пружина не щелкнула. Значит, граната не взорвется. Зачем же немцев пугать? Я осторожно положил гранату рядом с собой на землю. Немцы ушли. Тут я подумал: а если я не услышал щелчка пружины, и граната взорвется? Так я испугался: вспотел...

„Они свернули с дороги и пошли по тропинке через луг, позади разрушенного сарая. Тропинка была гладкая. Внизу мутный ручей бурлил вокруг деревянных свай разбитого снарядом моста.

„А дождь шумит, шумит, — продолжал рассказ Эльяшев. — Гимнастерка мокрая, прилипла к телу. Сколько времени? Двадцать один ноль шесть. Алейников лежит, как камень. Изготовился к прыжку, — я ведь знаю, — а не услышал взрыва гранаты и остался лежать, как камень. Я этим очень доволен. Слышу — шаги в траншее. Идет один немец. Я взял дубину. Идет немец медленно, насвистывает песенку. Вдруг свернул в боковую траншею. Чорт! Свернул и ушел. Я опустил дубинку в жидкую грязь... И снова: шлепанье. Идет... Понимаешь, Виктор Петрович, я ведь только утром, на допросе, узнал, что взял в плен боксера. Когда третий по счету немец вышел в траншею, я его с размаха дубиной — по голове! Ну, думаю, готов! А он, — плачущим голосом выкрикнул Эльяшев, — он пошатнулся, но не упал. Алейников прыгнул в траншею, немец его ударил и сбил с ног. Я тоже прыгнул. Он у меня автомат вырвал из рук. Я чувю, — от злости красным туманом застилает глаза. Наотмашь рубанул рукояткой нагана немца по виску. Тут он выронил автомат. Значит, я крепко ударил, — Эльяшев с удовольствием рассмеялся. — Выронил, но не упал. Я набросился на него. Мы катались по дну траншеи. Он склещивал пальцы на моем горле, я его — наганом по голове. Немец молчит. Алейников хочет схватить немца сзади, а тот пинает ногами. Ноги, как у жеребца. Сильный человек! Сильный, как бык! Страшный враг! — живо сказал Эльяшев, глядя на Виктора Петровича

блестящими глазами. — Он молчал из гордости, — я понимаю. Он один, без помощи других солдат, хотел нас убить. У меня наган выпал из рук. Немец рванулся вперед, но Алейников его оттащил. Я опять поднял наган. Немец вывернулся, ударом ноги выбил наган из моей руки, кость хрустнула... Наган улетел далеко за бруствер. Я устал, у меня силы уже нет. А немец звереет. Алейникова он ударил „под вздох“. Первоклассный удар, — я ничего не скажу худого. Я опять бросился на немца. Он меня сжал, — дышать не могу. Тут я нащупал на поясе немца кинжал...“

Эльяшев облегченно вздохнул, посмотрел на синеву неба и деловито, уже другим тоном, сообщил:

— Через три минуты мы принесли связанного... боксера в наше боевое охранение.

— Подожди, — удивленно сказал Виктор Петрович и остановился. — Убил?

— Зачем? — пожал плечами Эльяшев. — Я очень устал, но еще понимал, что в грудь немца бить нельзя. Я ударил в плечо...

Они сели на берегу и закурили. В быстро бегущей воде, пытаясь удержаться против течения, стояли золотоперые окуни. Равнина раскинулась до самого горизонта, где далекие черные холмы отмечали линию переднего края нашей обороны. Прислонившись к обгорелому пню, Эльяшев, утомленный долгим рассказом, молча курил и мечтательно улыбался своим воспоминаниям.

— Красивый ты, Ваня, человек! — неожиданно сказал Вербицкий, швыряя окурок в ручей. — Конечно, я тебе не завидую. И в моей жизни было много хорошего. . . Хотя немного завидую, — честно признался он. — Твоей молодости!

Пристально глядя в ручей, Эльяшев молча курил.

5

Первый помощник начальника штаба полка старший лейтенант Вербицкий шел в третью роту. Путь лежал через торфяное болото. Уже неделю шел дождь, унылый, мутный осенний дождь. Земля набухла, пузырилась, чавкала под ногами.

За болотом Виктор Петрович спустился в глубокую узкую траншею. В траншее были проложены деревянные мостки. По канавкам струились мутные ручьи.

Около землянки стоял, держа в руке рваные сапоги, угрюмого вида паренек в потемневшей от дождя шинели. Увидев старшего лейтенанта, он выпрямился.

— Здравствуй, Николаев, — сказал на ходу Вербицкий, — все занимаешься сапожным ремеслом? Командир роты здесь?

— Так точно.

Эльяшев брilsя перед крохотным зеркалом. Выпятив подбородок и скорчив зверскую рожу, он с нескрываемым удовольствием разглядывал свое темное от загара лицо.

— А! Виктор! — просил он. — Садись. Давно не заходил. Документация губит жизнь? Был архивной крысой, а стал штабной крысой! — Он весело рассмеялся.

— Ты все прежний, — сказал Вербицкий, опускаясь на сколоченную из жидких досок скамейку. — Как у тебя тихо, — добавил он укоризненно.

— Дождь, — объяснил Эльяшев.

Они долго беседовали по различным деловым вопросам. Дверь скрипнула, в землянку вошли лейтенант Семенов — командир взвода, бывший студент Ленинградского университета, ученик Вербицкого и командир второй роты Чужко. Связной принес в жестяном чайнике кипяток. Отсветы огня жарко горящей печки радужными бликами играли по стенам. В землянке было уютно в том смысле, в каком понимают уют солдаты на войне.

— Виктор Петрович, я хотел спросить вас, — сказал Семенов. — Еще до войны я читал вашу статью о Ленинграде. Мне все же непонятны ваши слова о национальном характере Петербурга как города.

Вербицкий отодвинул от себя стакан с чаем. Оживленно громко, с ясной улыбкой он заговорил:

— Земля-то, Семенов, на приневских берегах наша родная, русская. Ведь здесь Александр Невский воевал против шведов. Сюда, к русской Балтике, вел полки Иван Грозный. Да, над Невой развевались иноземные стяги, но это была интервенция чистейшего вида. Петр Великий шел по

проторенным дорогам не завоевывать, а освобождать!

— Но позвольте... — сказал Чужко, протягивая Вербицкому зажженную спичку.

— Вы хотите спросить меня об архитектуре? — сказал Виктор Петрович, жадно закуривая. И, заметив удивление в его глазах, он позволил себе самодовольно усмехнуться. — Я угадал. Действительно, в Ленинграде нет златоглавых церквей и боярских теремов. Но национальные формы (формы, а не суть!) архитектуры меняются. Адмиралтейство или меньшиковский дворец, или университет — глубоко национальные, русские здания. Если вы были в Угличе или Костроме, то может быть заметили в старинных соборах так называемую „мягкую лепку“. Арки, колонны, наличники окон словно из чистого воска вылеплены. В них нет резких граней, сухости, прямолинейности. Сразу чувствуешь, что у русского зодчего была добрая душа и он хотел порадовать людей. Я думаю, что эта особенность русской архитектуры отчетливо выражена и в наиболее замечательных зданиях Ленинграда.

Уже давно у печки сидел Николаев и делал вид, что целиком поглощен подкладыванием дров, а на самом деле внимательно, полукоткрыв рот, слушал Вербицкого.

Обрюзгшее лицо Виктора Петровича от оживления помолодело, и Эльяшев почувствовал неотразимое очарование какой-то особенной, мужественной и умной его красоты. Лишь вчера капитан Ванников

сообщил Эльяшеву, что жена и дочь Вербицкого погибли в Ленинграде осенью 1941 года от немецкой бомбы. И сейчас уважение к благородной молчаливости Виктора Петровича, жалость и сочувствие — все это заставляло Эльяшева думать, что его личные неприятности с увольнением из авиационной школы — сущие пустяки по сравнению с горем Вербицкого.

И все же Эльяшеву было не по себе. Когда Виктор Петрович начинал говорить с офицерами об архитектуре или истории, Эльяшев болезненно сознавал, как скромны его познания. Конечно, он мог бы себя утешать, что Вербицкий старше его на двенадцать лет. Жалкие отговорки! И в двадцать три года тот был образованнее Эльяшева. Это бесспорно. В глубине души Эльяшев боялся, что Виктор Петрович презирает его за невежественность. И эти мысли были неприятны Эльяшеву.

Задумавшись, он не заметил, что Семенов и Чужко ушли: им надо было идти в боевое охранение. Вечерело. Папироска Вербицкого краснела во мраке.

— Огня! — гаркнул Эльяшев почему-то очень сердито.

— Не нужно, — остановил его Виктор Петрович, — я хотел поговорить с тобой, Ваня. Почему на участке твоей роты затишье?

— Дождь, — угрюмо проворчал Эльяшев.

— Нет, тут иное, — уверенно заявил Вербицкий. — Ты увлекся инженерными работами. Ты строишь отличные дзоты и траншеи. Справедливо тебя похва-

лили в газете. Но ведь надо убивать немцев! У-би-вать! — наставительно и сурово заявил он.

„Как ленивого ученика отчитывает, — подумал Эльяшев. — Магистр изящных наук!“

— Мне, Виктор, не разорваться! Я лишь месяц команду ротой. Тебе легче, ты в штабе, бумаги и донесения...

— Ах, оставь, — сморщился Вербицкий, — я прихожу к тебе пятый раз и вижу: Николаев, отличный снайпер, он сорок восемь немцев убил, занимается ремонтом сапог. Мне — стыдно! Ты знаешь, как он на дымок поймал немецкого снайпера? Поймал и убил! Не знаешь? Почему же я, штабная крыса, знаю?

Эльяшев почувствовал, что Виктор Петрович иронически улыбается и рассвирепел.

— Я тебе говорю, мне не разорваться! Должен я строить дзоты? Я не сплю по ночам, я работаю так, как еще ни разу в жизни не работал!

— Замолчи, — сказал Виктор Петрович гневно и побледнел. — Надо воевать исступленно, озлобленно, ожесточенно! Надо у-би-вать!

— Ты меня не агитируй! Ишь нашелся... взводный агитатор!

— Милый Ваня, пойми: совесть, присяга, любовь к людям, — все, все твердит нам: скорее оканчивайте войну! Мы — мирные люди, привыкли к созидательному труду, у каждого из нас есть яблоня...

Эльяшев не понял.

— Яблоня?

— Да, белая яблоня; ну, как символ труда, радости, счастья, — нетерпеливо сказал Вербицкий. Он на миг закрыл глаза и вообразил шатер белопенных цветов. — И я посадил давно, давно-оо... свою яблоньку! Это — наука. Видимо, мы и воюем так яростно, что нам органически чужда война. Поскорее мы хотим уничтожить немцев и вернуться к труду.

Эльяшев сидел на койке и мерно бил кулаком по подушке.

— Катись к чорту! — ворчливо пробормотал он.

Виктор Петрович рассмеялся. Возбуждение прошло, он почувствовал усталость, вот уже вечер, надо идти пять километров до штаба, а там срочная работа почти на всю ночь.

— Хороший ты человек, Ваня, а уж очень обидчивый. Нельзя так.

— Я тебе говорю — катись со своими учительскими нотациями! — крикнул Эльяшев.

6

Из дневника Виктора Вербицкого

24 сентября 1942 г.

Командир полка объявил Эльяшеву выговор за ослабление боевой активности на рубеже. Эльяшев решил, что во всем, конечно, виноват я, позвонил по телефону и обозвал черным словом,

Вчера мы встретились у комбата Ванникова. Ваня отвел меня в сторону и тихо-тихо сказал, что я мерзавец. Видимо, капитан заметил, что я покраснел и спросил о причине этого. Что я сказал Эльшеву? Я искренне и убежденно сказал, что офицерская дружба — злая дружба. Офицер гордится продвигом своего друга и убивает его за трусость. Главное — честность. Помогать не похвалой, не восторженностью, а открытым, суровым предостережением. Предельная откровенность. Мы — мужчины, мы — солдаты, к чорту деликатные словечки, когда надо воевать.

Понял ли Ваня? Не знаю!

26 сентября 1942 г.

Решил записать солдатскую „байку“ о том, как Николаев поймал на „таинственный дымок“ немецкого снайпера. Он три часа лежал в засаде и не увидел ни одного немца. Тогда он в соседнем окопчике воткнул в землю мягкий прут, на него повесил масленку и привязал пропитанную ружейным маслом тряпочку. Поджег ее. Тонкая струя дыма поднялась в воздухе. А его напарник Шамсутдинов привязал к пруту веревочку: потянет — прут наклонится, отпустит — он выпрямится. И дымок от этого колеблется: то исчезнет, то вновь появится. Заметил немецкий снайпер этот таинственный дымок и подумал, наверное: „Здесь прячется и курит русский солдат“. Начал обстреливать окоп. Третья пуля угодила прямо в окоп. Николаев мигнул Шамсутдинову, тот натянул веревку, прут согнулся. И дыма

больше нет. Обрадовался немец: „Ну, значит, убит русский боец“ — и по пояс высунулся из траншеи. Николаев убил его.

27 сентября 1942 г.

Сегодня бойцами Эльяшева истреблены двадцать два немца.

7

Деловой разговор был окончен. Вежливо, но холодно они попрощались. Вербицкий медленно пошел к дверям землянки. Он ждал, что Эльяшев остановит, окликнет его. Эльяшев промолчал. „Как вам угодно, товарищ командир третьей роты!“ Он вышел под серое небо и быстро зашагал по траншее.

А Ваня Эльяшев лежал на койке, уткнувшись в подушку и уныло думал, что Виктор Петрович теперь никогда не простит его. Когда в землянку вбежал испуганный Николаев, то Эльяшев недоумевающе посмотрел на него. Что случилось, Николаев? Почему у тебя так дрожат губы и ты говоришь невнятно и тихо? Наконец он понял слова Николаева: „Немецкий снайпер подстрелил на болоте Вербицкого!“ Он надвинулся на Николаева желтый, с раздувающимися ноздрями, с всклокоченными волосами; на его виске пульсировала, набухая и опадая, голубоватая жила, и он был так страшен в этот момент, что сержант оробел.

— Винтовку! — хрипло сказал он. — Снайперку! — рывкнул Эльяшев так оглушительно, что зазвенело стекло в оконце.

Он промчался по траншее и легким прыжком вскочил на бруствер. Взрывая сапогами рыхлую землю, он бежал по брустверу. Злая немецкая пуля обожгла плечо. Он рухнул в наполненную жидкой грязью воронку. Над самой головой взвизнула пуля. Он успел подумать, что вражеский снайпер заметил его, и санитары теперь спасут Виктора Петровича.

Он выглянул из-за бугра. Рыжее поле, усеянное воронками, проволочные заграждения, рывины, деревья, расщепленные снарядами. Все это походило на лунный пейзаж. До боли напрягая глаза, он вглядывался в туманную даль. Где же немецкий снайпер? Туман, туман...

С легким шорохом к Эльяшеву подполз, прижимаясь к мокрой земле, Николаев. Растерянность, испуг — все это исчезло в нем. Невольно Эльяшев почувствовал, каким огромным внутренним напряжением охвачен Николаев.

— Я заползу слева и буду бить наугад, — еле слышно сказал Николаев. — Смотрите.

Эльяшев понял и благодарно кивнул головой.

Немецкий снайпер откликнулся на выстрелы Николаева. Жирно чавкнула в грязи пуля. Белесая вспышка была видна лишь одно мгновение, и все же Эльяшев заметил немецкого снайпера, лежащего на песке. На нем был темножелтый халат и даже лицо было прикрыто желтой сеткой. Все кончено. Эльяшев отполз в сторону и вскинул винтовку. Тут началась борьба за выстрел: кто раньше? Он

видел вражеского снайпера, но и снайпер видел его. Эльяшев плавно опустил курок. Не оглядываясь на труп врага, он пополз к траншее.

8

Из дневника Виктора Вербицкого

18 октября 1942 г.

А ведь Эльяшев меня опять перехитрил!

Вот уже скоро месяц, как наш полк отведен с переднего края на учения. Ваня учит своих бойцов так настойчиво и энергично, что на каждом совещании не только полковник, но и генерал хвалят его. Я очень рад этому. По вечерам я вижу, как он ведет по шоссе роту с занятий. Он облеплен грязью, от него валит пар, как от лошади. Мне чуть-чуть неудобно, что я весь день работаю в комнате.

А через час с безумной скоростью Ваня мчится на мотоцикле по ночной дороге. Мотоцикл ему дают знакомые танкисты. Веселый, легкий человек! Ну, запишу, как он меня перехитрил на сегодняшних учениях. Рота Эльяшева обороняла населенный пункт. Наступление вела рота Чужко. Неожиданно генерал говорит:

— Будет вам, Вербицкий, киснуть в штабе. Командуйте ротой Чужко, а тот пусть возьмет роту Эльяшева.

Я, разумеется, бодро сказал:

— Есть!

Ей-богу, я отлично вел наступление. Без похвальбы. Но я не заметил, что правый фланг роты открыт. В обороне за кустами лежали автоматчики Николаева. Увидев, что фланг моей роты открыт, Николаев приказал: „Вперед!“ Автоматчики поползли по залитой грязью канаве. Скрытно выведя свое отделение во фланг моей роты, Николаев крикнул: „В атаку!“

Мокрые, грязные автоматчики, гремя трещотками, бросились на мою роту.

Генерал объявил, что моя рота этим фланговым ударом отделения автоматчиков рассеяна, а частично и „уничтожена“.

Замечательно, что сержант Николаев провел весь маневр своего отделения лишь двумя командами.

Генерал был в восторге. Я, разумеется, огорчился, но чистосердечно хвалил Эльяшева за столь высокую натренированность сержантов и рядовых.

(Фу, шея болит, проклятая пуля глубоко поцарапала!..)

Генерал уезжал поздно вечером. Начальник штаба и я провожали его до машины. Мимо нас, разбрызгивая жидкую грязь, пролетел на мотоцикле Эльяшев.

— Лихой парень! — улыбнулся генерал. — Он еще не знает себя, своих слабостей и своей силы. Но люди на войне быстро мужают. В нем есть военная косточка. Он — настоящий солдат. Это его прадеды прибили щит Олега на воротах Царьграда.

— А что вы скажете обо мне? — неожиданно для себя спросил я.

— Вы — хороший штабист: осторожный и расчетливый, — сухо сказал генерал.

Похвалил... Расчетливый, а уж два раза Эльяшев бил меня по флангу.

9

Это был тот день, ради которого бойцы месяцами учатся, ползают по земле, ходят по топким болотам, штурмуют дзоты в учебных городках, колют штыками чучела, бросают гранаты в макеты танков, а офицеры изучают уставы и наставления, чертят схемы, проводят маневры, — это был день боя!

Первый батальон находился в резерве командира дивизии.

В канаве, на восточной опушке роши, под условным названием „Лилия“, лежали капитан Ванников и Иван Эльяшев.

— Обстановка прояснилась, — задумчиво говорил капитан, — разведка доносит, что у немцев вокруг поселка дзоты и капониры. А лес густой, в нем пушки не развернутся.

— Я полагаю, товарищ капитан, бросить вперед бронейщиков и минометы, — сказал Эльяшев.

— Пожалуй, ты прав, — медленно проговорил Ванников, сдирая с усов комочки льда. — Покажи карту. Фу, собачий холод!

С глухим свистом прорезая тяжелый морозный воздух, пролетела вражеская мина и оглушительно взорвалась на дороге.

— Сюда начал бросать!

Эльяшев не спеша вынул из кармана сухарь. Прищурившись, он взглянул на карту. Красные стрелки указывали направление главного удара. Третий день шел бой в этих угрюмых лесах и болотах. Уже через Неву шли по бревенчатым настилам танки и автомобили. Уже для всех солдат сделался далеким воспоминанием серый, пронзенный выстрелами рассвет, когда пехотинцы вышли на занесенный снегом лед Невы, чтобы прорвать вражескую блокаду Ленинграда. Уже ворвались на окраины Шлиссельбурга полки Трубачева. Уже подходили к ладожским каналам лыжники Потехина. А первый батальон все еще находился в резерве комдива и не вступал в бой. Но час назад Ванников получил боевую задачу.

Упала мина на дороге, теперь ближе, сухой иней посыпался с деревьев.

— Твоя рота готова?

— Да.

— А как ты себя чувствуешь?

Ослепительным клубком вспыхнуло рыжее пламя. И вдруг грянуло рядом, да так оглушительно, что почудилось — это сама земля завывала от нестерпимой боли. Капитан прислонился к стенке канавы и плотно зажал рукою кровоточащую рану.

— Эх, неужто отвоевался? — вздохнул он. — Делать, однако, нечего. Принимай батальон, товарищ старший лейтенант.

Пронзительно запищал полевой телефон. Генерал вызывал к себе комбата один.

Светлело небо на востоке. Спали в наспех открытых землянках, шалашах и палатках солдаты. Не спали только часовые, наблюдатели, повара, телефонисты. Иван Эльяшев сидел у воткнутой в горлышко бутылки свечи, разглядывал карту. О многом надо было ему подумать, чтобы уверенно, спокойно встретить близящийся бой.

Багровой змеистой трещиной расколосось черное небо, это взлетела красная ракета. И сразу же та тревожная тишина, которая бывает только на войне, сменилась лязгающим и воющим грохотом стрельбы. Минометчики лейтенанта Доронина вышли на опушку рощи, опередив стрелков. Дальше лежало мелко-лесье. Они обрушили на занятый немцами поселок тысячу триста мин. Над избами поднялось пламя. Бронебойщики в это время ползли по сугробам. В белых халатах, с тяжелыми пищалями они были похожи на огромных допотопных ящериц. Боец Ащенко пробрался по чаще леса к поляне, вогнал три бронебойно-зажигательных пули в амбразуру немецкого дзота: захлебнулись немецкие пулеметы.

Хрипели телефоны. Проворно шныряли среди деревьев, увязая в глубоком снегу, связные. Рота Калугова выдвинулась на левый фланг и залегла во рву. словно раскаленным добела мечом артиллерия рубила и кромсала немецкие траншеи, дзоты, блиндажи.

За бугром, в мелкодонном окопе стоял Иван Эльяшев. Радиогаммы, сигналы, целеуказания артиллеристам... Прижав к глазам бинокль, он увидел, что снаряд накрыл пулеметный расчет Щербатюка.

— Слава храбрецу! — прошептал старший лейтенант, когда рассеялся мутно-желтый дым. Из расчета остался живым один Щербатюк. Он привязал к ноге коробки с лентами и пополз по снегу, толкая пулемет и стреляя по немцам.

К окопу прибежал связной Анисимов. Он упал, зачерпнул рукавицей рыхлый снег, приложил колбу.

— Товарищ старший лейтенант, — тяжело дыша, произнес он, — погиб Чужко... Он пулемет закрыл!

Эльяшев протяжно свистнул.

— А рота? — спросил он и, заметив на глазах Анисимова слезы, отвернулся. Он не был черствым человеком. Но сейчас он думал о батальоне, а в батальоне было много людей, которых он любил так же сильно, как Чужко.

— Пулемет все молчал. Его и не видно из-за сугроба. Немцы открыли огонь и все залегли. Он две гранаты бросил. А пулемет хлещет... Он вскочил и лег на ствол. Рота вперед пошла.

— Беги и передай лейтенанту Семенову, что я назначаю его командиром второй роты, — сказал Эльяшев.

Немцы подтянули из тыла в поселок тяжелые минометы. Лавина огня обрушилась на стрелковые цепи батальона. Вздрагивала и гудела земля. В во-

ронках, окопах, ямах лежали солдаты. Они знали, что надо идти вперед, но они не могли идти вперед, и Эльяшев понимал это.

Батальон остановился.

Эльяшев закрыл глаза. Он опустил на землю, чувствуя невероятную усталость. Он знал, что на войне бывают такие минуты, когда для офицера самое главное — не растеряться. Он пока знал об этом из книг и рассказов товарищей.

Разве он растерялся?

— Товарищ старший лейтенант! — окликнули его.

Он поднял голову.

— Ну?

В окоп спрыгнул сержант Щербинин. Он сказал, что разведчики взяли „языка“. И пленный немец рассказал, что в поселке — крупные силы, а перед ротой Семенова две наспех сколоченные из обозников, писарей и санитаров роты противника. А левофланговый взвод роты Семенова, по словам Щербинина, продвинулся по лесу на пятьсот метров, но вслед за ним никто не идет.

— Понятно, понятно, — вяло сказал Эльяшев, с трудом разжимая побелевшие губы. — Там второстепенный участок. А поселок — направление главного удара. Так говорил генерал.

Внезапно он вскочил. Все, что было раньше отвлеченными тактическими познаниями, которые он изучал еще недавно на фронтовых стрелково-пулеметных курсах, откристаллизовалось в его голове в ясный и смелый замысел. „Направление главного удара

там, где пехота идет вперед“, — подумал он и взял телефонную трубку.

— Товарищ двадцать—тридцать шесть, — сказал Эльяшев, — перед поселком у немцев прочные позиции. Атака захлебнулась. Каково ваше решение?

— А зачем тебе, комбат, знать о моем решении? — спокойно спросил генерал. — Приказ, мой приказ, — твердо повторил он, — ты получишь своевременно... Меня интересует, комбат, сейчас, что ты сам решил?

— Мое решение...

Спокойствие наполнило его душу, когда он услышал от генерала слова одобрения.

По-лисьи хрипло мяукали телефоны, связные торопливо уходили в лес, наполненный глухой бурей боя, радисты кодировали донесения. Эльяшев приказал Семенову бросить всю роту за ушедшим далеко в лес левофланговым взводом.

— Я сам позабочусь о твоём фланге, — успокоил он своего офицера. И едва Семенов разгромил тощий заслон из немецких писарей и ездовых, весь батальон хлынул в прорыв.

„Поворот все вдруг!“ — повторил себе Эльяшев морскую команду. По этому сигналу корабли эскадры разом меняют курс.

Трудно в разгаре боя, когда яростный азарт овладел офицерами и бойцами, повернуть батальон. Но сейчас Эльяшев надеялся, что все офицеры, узнав, как глубоко вклинился в немецкую оборону

Семенов, сразу же поймут,—здесь, именно в этом месте и должно быть направление главного удара.

Так оно и случилось. Едва долетели радиogramмы, едва добежали связные до командиров рот, батальон начал поворачиваться и, словно бурливый вешний поток, помчался сквозь прорванную плотину.

Радист принес комдиву депешу: „Иду вперед. Эльяшев“.

— А я верю в этого мальчишку,—сказал задумчиво генерал. — Многие видели, как он гоняет на мотоцикле. А я видел, как он учился. Он падал и поднимался, опять шел вперед...

Когда к Эльяшеву подбежал сержант Николаев, старший лейтенант, расстегнув полушубок и, с наслаждением вдыхая студёный воздух, стоял у груди валежника и мерно диктовал телефонисту:

— ...сопротивление противника в роще „Мак“ сломлено, батальон стремительно...

Николаев, широколицый, на первый взгляд угрюмый и замкнутый юноша, торопливо сказал, что был с разведчиками в боевом охранении на правом фланге.

— Ну? — нетерпеливо спросил Эльяшев.

— Товарищ старший лейтенант, немцы шли по переселку. Мы их отогнали. Я офицера убил. На нем была полевая сумка.—Эльяшев засопел и вынул из полевой сумки карту. На ней был изображен район действия его батальона. Четкая, проведен-

ная синим карандашом, стрела разрежала рошу „Мак“, овраг, болото и упиралась в поселок.
— Что за чорт, — растерянно сказал Эльяшев.

11

Виктор Петрович Вербицкий в белом халате с двумя связными шел на лыжах по лесу. Он въехал на невысокий холм, а затем плотный наст начал убегать из-под лыж, и он понесся вниз, все быстрее и быстрее.

Санитарная повозка проехала по дороге.

Боец в грязном и рваном халате, с перевязанной левой рукой медленно шел по дороге и курил. Виктор Петрович взглянул на него и понял, что это — рабочий. Так солидно, неспешно, с сознанием исполненного долга, обычно возвращаются рабочие с завода.

В лесу было тихо и это почему-то было неприятно Виктору Петровичу. Он спрашивал телефонистов: „Где Эльяшев?“ И телефонисты показывали куда-то на юг и радостно говорили, что батальон Эльяшева выходит на южную опушку роши „Мак“.

Они пересекли накатанную, в табачно-желтых пятнах дорогу. Дорога круто спускалась к ручью. Сквозь деревья виднелась узкая поляна. В предвечерних сумерках нежно синел снег.

Наконец он отыскал Эльяшева в овраге. Сидя на сугробе, Эльяшев жевал сухарь. Рядом была раскинута маломощная рация.

— Виктор! Чорт! — радостно закричал Эльяшев.
— Беги скорее!

Виктор Петрович прислонил к дереву лыжи и рукавицами стряхнул снег с валенок.

— Почему так тихо? — строго спросил он, подходя.

— Всех немцев угробили. Идем без выстрелов, как на маневрах. Садись, гостем будешь.

— Всех? — презрительно усмехнулся Вербицкий,
— Дурак! — закричал он, задыхаясь от волнения. — Немцы тебя заманивают в мешок!

Тотчас он раскаялся в своей вспыльчивости. Лицо Эльяшева потемнело, широкие ноздри хрящеватого носа раздулись.

— Что? Дурак?!

— Ваня, — миролюбиво сказал Вербицкий. — Немцы не могли так легко отдать „Мак“. Подумай! Если они отходят, значит, тут ловушка. Твоя задача: взять поселок.

— Дурак? — переспросил Эльяшев, вытягивая шею. Плотно сжатые губы его побелели. — Ты, ленинградский магистр, архивная крыса, будешь учить меня, Ивана Эльяшева?

— Буду!

— К чорту! Довольно! Я не подчиняюсь тебе!
Весь день был спокоен. Он был спокоен даже тогда, когда захлебнулась атака. Никто не догадывался, как мучительно трудно было ему в этот момент.

— К чорту! — хрипло проговорил он.

— Ваня, — тихо сказал Вербицкий и пошел по извилистой тропинке вглубь леса. Эльяшев покорно пошел за ним. — Прости меня. Я погорячился. Ты блестяще провел маневр. Но еще несколько минут, и ты погубишь весь батальон. Твоя задача: взять поселок. Ваша задача, товарищ старший лейтенант, взять поселок! Не больше! Куда ты полез?

— Чем глубже, тем вернее, — угрюмо сказал Эльяшев. Он со злостью смотрел на круглое, розовое лицо Вербицкого. — Я выйду из „Мака“, и немцы бросят поселок без боя.

Он уже не мог кричать и ругаться. Почему? Он не знал этого. Вновь, как уже не раз, Вербицкий подавлял его силой своего разума.

— Бросят без боя? Наивно, наивно, — пробормотал Виктор Петрович. — Поселок — последняя преграда на пути к Большой земле. Пойми, Ваня, они скоро ударят во фланг. А чем ты прикрыл фланг? Говори.

— Семенов — опытный командир.

— Семенов — мальчишка, — сурово сказал Виктор Петрович. — Такой же горячий мальчишка, как и ты. Он увлечен продвижением, бешенством атаки.

Внезапно Эльяшев вытаращил глаза и протяжно замычал. У него был очень потешный вид, и Виктор Петрович едва не улыбнулся. Эльяшев вспомнил полевую сумку немецкого офицера. Он ощутил огромную радость. Синяя стрелка на карте означала, что немцы решили ударить в правый фланг батальона, отрезать, окружить и истребить бойцов Эльяшева.

Немецкий офицер проводил дополнительную рекогносцировку. Теперь все ясно.

— Как же ты догадался? — спросил он и смущенно улыбнулся и стал снова прежним горластым, милым и диким парнем, которого так любил Виктор Петрович. — Бегу, бегу! Я им покажу синюю стрелу!

Ему некогда было благодарить Вербицкого. Он легко побежал по тропинке. Виктор Петрович услышал, как на бегу Эльяшев звал связных.

12

Бойцы вырубали жерди, привязали свои поясные ремни, прикрыли их сосновыми ветками и по ложили на носилки раненого Эльяшева.

Он лежал, запрокинув голову, хриплое, свистящее дыхание вырывалось из его груди.

Осколок мины угодил ему в живот.

Он лежал на остро пахнувшей скипидаром хвое и видел небо, просторное, быстро темнеющее небо.

Он говорил еле слышно, и связные наклонялись к нему, чтобы услышать слова приказов.

Медленно по целине, порою по пояс проваливаясь в снег, несли бойцы комбата.

Ему доложили, что рота Семенова закрепилась на опушке. Три раза немецкие автоматчики контратаковали роту. Их отогнали. По широкой дуге шел с тыла на поселок батальон.

Эльяшев шептал:

— Николаев, мой резерв... взвод автоматчиков... там овраг...

И угрюмый Николаев убегал в лес. Иногда Эльяшев начинал грызть пальцы и при этом ругался так изобретательно, что связные крутили носами и жмурились.

— Минометчикам... скажи... те Сидорову...

Он говорил запинаясь. Он видел черное небо. Неужели настала ночь? Он не слышал бурных криков „ура“. Молчанье беспмятства окружило его.

Его вынесли на окраину поселка.

Из санитарного автомобиля выпрыгнул доктор.

Кругом говорили: „поселок взят“. Он не увидел лыжников, легко скользящих по сугробам. Они бежали к нему, к лежащему в обмороке на самодельных носилках Ивану Эльяшеву, чтобы сказать: „блокада прорвана“.

13

— Николаев, скажи... вот старший лейтенант был летчиком, потом пехотную школу кончил. А Вербицкий? Бывалый, видно, офицер?

— Тю! — протяжно свистнул Николаев. — Он же профессор, у него лейтенант Семенов обучался. Он большевик. Только война началась, он взял винтовку...

Виктор Петрович стоял на бугре.

Сердце его билось взволнованно, короткими, сильными ударами.

Он стоял на обломках огромной, мощной, неустанно из месяца в месяц создаваемой немцами плотины, охватившей Ленинград кольцом блокады. Здесь сомкнулась Большая русская земля с освобожденным городом.

— Доложите генералу, — твердо сказал, выпрямившись, Вербицкий, — что старший лейтенант Иван Эляшев его приказ выполнил. Блокада прорвана!

14

Из окна госпиталя виднелось поле. Ветер выдул снег с грядок. Сухие стебли травы торчали на глинистом склоне.

— Тебе плохо, Ваня? — спросил Вербицкий.

Он стоял у койки, держа в руках шапку. Его смущало, что он не оставил на вешалке шапку и сейчас приходится прижимать ее к груди.

— Нет, мне хорошо, — сказал Эляшев.

— Тебе очень плохо?

— Мне хорошо, — сказал Эляшев. — Я теперь знаю: ты любишь меня.

Он протянул Виктору Петровичу желтую, слабую руку. Вербицкий нагнулся и прижал губы к впадине щеки Эляшева. Тот лежал на низкой подушке, запрокинув голову с иссиня-черными волосами над высоким лбом.

— Я скоро вернусь в полк, — сказал Эляшев, — мы будем опять вместе.



СТРАННЫЙ ХАРАКТЕР



Весною этого года я окончил Н-ское танковое училище и выехал на фронт. В первые же дни мне довелось повстречаться с генералом Николаем Платоновичем В., старым другом нашей семьи. После смерти моего отца, профессора Казанского университета, Николай Платонович взял на себя попечение о моем воспитании. По его совету я поступил в военное училище. Не раз Николай Платонович посещал начальника нашего училища и освещался о моем прилежании. Помню, он сурово обошелся со мною, узнав, что по строевой подготовке я получил „посредственно“.

Поздравив меня с присвоением офицерского звания, генерал отрывисто и, по первому впечатлению, грубовато сказал:

— Возмужал!

Я знал доброту сердца Николая Платоновича и спокойно глядел на его узкое, сухое, с седеющей бородкой лицо и умные, насмешливые глаза.

— Сейчас я занят, — добавил генерал. — Вечером рад буду побеседовать с тобою.

Вечером меня провели в маленькую землянку генерала. Ординарец поставил на сколоченный из консервных ящиков столик бутылку красного вина, и блюдечко с мармеладом. Попросив извинения, Николай Платонович снял мундир и сапоги. В мягких туфлях и меховой безрукавке он стал удивительно похожим на моего отца. Я отвернулся чтобы он не заметил моего волнения.

— Офицер! Полный офицер! — твердо выговаривая слова, произнес Николай Платонович, отгоняя ладонью клубы табачного дыма. — Но думал ли ты, каким должен быть офицер Красной Армии?

Я бойко пересказал ему прощальную беседу с курсантами заведующего учебной частью училища.

— Скверно! — брякнул генерал и сердито поджал плоские губы. — Форменная труба! Ничего не выйдет! Надеешься, что есть уставы и наставления? Приказы старших начальников? Кем был незабвенный для моей памяти твой отец? Созидателем русской культуры! Творцом! — Николай Платонович поднял вверх длинный, как циркуль, палец. — Он был скромным ученым, теперь ты это знаешь.

Я кивнул головою.

— Однако он сказал новое слово в науке, он творчески относился к своей работе и его имя окружено уважением и любовью. А ты? Что у тебя за душою? Каков твой характер? Тебе — двадцать лет! Ежели кроме конспектов, схем, заученных на пятерку параграфов ничего нет, то форменная труба!

Я сказал, что, по моему скромному мнению, современная война ведется по строгим научным законам.

— Оттого тебя, балбеса, и учили три года! — с добродушным возмущением воскликнул генерал. — Но какова военная наука? Догма? Или основанное на твердых знаниях вдохновенное творчество твоего ума? А известны ли тебе границы влияния характера офицера на судьбу боя?

Сжалившись над моим подавленным видом, Николай Платонович улыбнулся, наполнил вином стаканы и сказал:

— За твое боевое счастье! Сейчас я расскажу тебе одну историю. Ежели поймешь, к чему клоню свою речь, то она пойдет тебе на пользу.

Он набил пахучим табаком старенькую носогрейку, крикнул ординарцу: „Вася, сходите, пожалуйста, в двадцать три ноль ноль за чаем“ и начал свой рассказ:

„Меня еще в штабе фронта предупреждали о странном характере командира танкового полка — майора Селиванова. Признаюсь, ничего определенного начальником штаба сказано не было, но я насторожился, ибо привык с искренним доверием относиться к наставлениям Кирилла Сергеевича. Встреча состоялась на второй день. Селиванов произвел на меня благоприятное впечатление: подтянутый, аккуратный. Не понравилась мне лишь резкость тона, но я готов был примириться с этим.

Лицо майора было желтое, и я вспомнил, что ходили слухи о его злоупотреблении алкоголем.

— Есть ли у вас какие-либо просьбы ко мне? — спросил я, когда деловая часть разговора была окончена.

— Так точно. Пятнадцать наградных листов, — и он вытащил из полевой сумки кипу бумаги.

— Пятнадцать?

— Так точно. Необходимо наградить всех, — он уверенно повторил с необыкновенным задором, — всех пятнадцать! Иначе вы оскорбите достоинство и честь пятнадцати героев!

Я попросил майора выразиться корректнее и, к чести его, он сразу же попросил прощения, но тут же довольно резко добавил:

— Если я прошу о наградах, то убежден в их необходимости.

Я предложил ему подробнее рассказать о подвигах переименованных танкистов, но, к моему удивлению, выдающихся подвигов не оказалось.

— Да, товарищ генерал-лейтенант, в газете о моих ребятах не писали. Каюсь, ни один из них не сидел трое суток в подбитом танке среди шаек озверелых гитлеровцев, — нарочито утрируя, говорил он, — не отстреливался до последнего патрона из объятых рыжим пламенем танка! Впрочем, в последних боях немцам вообще не удалось подбить ни одного нашего танка! Если в море затонул корабль и какой-либо человек проплыл десять километров до берега, он от этого еще не стал чем-

пионом мира по плаванию на дальние дистанции. Я убежден, что есть стойкость инстинктивная, так сказать, физиологическая, идущая от самосохранения жизни. И делайте со мною что хотите, а я перед такой стойкостью не преклоняюсь.

Невольно я заинтересовался живым умом майора и сказал ему:

— Продолжайте!

— А сержант Корж принял в бою танк, который даже по техническому акту считался неисправным, провел его пятьсот километров без аварий, и для меня он — герой! А радист Богпомочев вылез в бою из танка и починил гусеницу. Так ведь он — радист!

Не стану утомлять тебя подробностями дальнейшего разговора. Мы расстались мирно, но я рассердился, когда услышал, что, уходя, Селиванов сказал моему адъютанту:

— Добряк!

Он мою вежливость принял за сантиментальную доброту.

Следующий инцидент произошел на двусторонних тактических занятиях. Полк Селиванова наступал во взаимодействии со стрелковым батальоном. Инспектирующий занятия командарм был весьма доволен ходом учений, и я уже успокоился, но прибежал адъютант и доложил, что между пехотинцами и танкистами возникла драка.

Когда мы на „виллисе“ подъехали к поляне, то увидели безобразную картину: забыв о выпол-

нении приказа, стояли, сбившись в тесную толпу, бойцы; какой-то танкист, схватив за ворот гимнастерки, тряс и ругал неприличными словами пехотинца; рядом рвался из рук цепко держащих его танкистов другой стрелок; все кричали и бранились, а на башне танка возвышался майор Селиванов и в диком восторге вопил:

— Дружней, танкисты! Учите пехтуру уму-разуму! Мы им покажем, как в плен сдаваться!

После моего вмешательства драка была ликвидирована, и грязный, в разорванном комбинезоне танкист доложил обстоятельства дела. Я повторяю: учения были двусторонние. Солдаты „противника“ устроили в долине засаду и в момент атаки захватили „в плен“ наших бойцов. Увидев это, танкисты Селиванова выскочили из машины и бросились на выручку. Ты скажешь; „благородные побуждения!“ Но при чем тут ругань? Ссора? Отбив у „противника“ своих пехотинцев, танкисты начали их упрекать, ругать, а едва те огрызнулись, — биты! Все перемешалось, атака была сорвана.

— Товарищ генерал - полковник, — удивленно сказал командарму радист Галлиулин, — как сейчас вижу его: грязный, потный, зубы сверкают, — да разве это мыслимо: советские бойцы, а сдались в плен! Выскочили из кустов на этих балбесов, наставили автоматы, — руки вверх! А они и ошалели от испуга! Как нам наказывал майор? Винтовки нет, — дерись кулаками! Руки поранены, — пинай ногами! Ноги простреляны, — грызи зубами. Вот

это по-нашему! А если этим дуралеям ум через голову не входит, то надо в зад вбивать!

Командарм засопел, что у него было признаком сильнейшего раздражения, и сказал:

— Майор Селиванов, ко мне!

О чем они беседовали, я не слышал. Но одна фраза Селиванова донеслась до всех офицеров.

— А я, товарищ генерал-полковник, своими ребятами доволен! На тактических занятиях надо прежде всего воспитывать в солдате могучую волю, злость, ярость!

— Вы в этом уверены?

— Как в белый свет!

— Повторить атаку! — приказал командарм. — А с вами у нас будет отдельный разговор“.

Николай Платонович отхлебнул вина; заметив, с каким напряженным вниманием я слушаю его, — улыбнулся и продолжал:

„Дальнейшие события развивались в быстром темпе. Начались бои. К исходу третьего дня боев ко мне поступил рапорт от работника моего штаба подполковника Виленчука. Он обвинял майора Селиванова в трусости. Передам тебе своими словами содержание рапорта.

На КП находились командир полка, подполковник Виленчук и Селиванов. Час назад танковая рота Селиванова и стрелковый батальон захватили деревню. Немцы крупными силами пошли в контратаку. Я приказал любой ценой удержать деревню. Внезапно от соседей слева пришла радиограмма: „ в деревне

немцы". А с комбатом и танкистами, как на грех, ни радио, ни телефонной связи нет. Положение, казалось бы, обычное, но весьма неприятное. Подполковник обращается к Селиванову:

— Каково, майор, ваше решение?

— Обедать! — улыбнулся Селиванов. — Я голоден, как волк!

— А деревня?

— Что деревня?

— Да ведь деревня взята! — возмущенно закричал подполковник.

— Нет, не взята.

— Уверены?

— Как в белый свет!

— А почему вы уверены, что деревня не взята?

— Товарищ подполковник, — сказал, вставая и выпрямившись, Селиванов, — разрешите доложить: я слышу выстрелы моих танков. Я отдал по радио все необходимые приказы и жду одного: провала немецкой контратаки.

— Танки могли отойти в лес.

— Нет, не могли! Если деревню немцы взяли, то значит — все танки сгорели, а мои ребята погибли!

— Пойдемте сами и уточним положение на местности, — предложил подполковник.

Его слова были вполне разумны.

— Не пойду! — сказал Селиванов и снова лег на нары.

— Я вам приказываю!

— Тогда пойду“.

Внезапно генерал нахмурился. Теперь голос его звучал сердито. Я понял, почему даже воспоминания об этом были неприятны Николаю Платоновичу. Смертельно усталые, держащиеся на ногах одним напряжением воли люди решили, что деревня взята, что все, чем они жили, к чему стремились, о чем думали — рухнуло, пропало. А Селиванов шутит и усме- хается...

Генерал пересилил свое раздражение и продолжал.

„Пошли. На дороге угодили под минометный огонь противника; ползая по канаве, вымазались в грязи. Вышли на опушку леса, — разумеется, в деревне наши. Немцы там и не бывали.

Тут Селиванов позволил себе явно нетактичную выходку.

— Вот стоят два майора и подполковник. Родина учила их восемь, нет, десять лет, чтобы они стали старшими офицерами. А сейчас они погибнут от осколков немецкой мины! Зачем? Какая в этом необходимость? Ну, я пошел обедать“.

Не выдержав, я рассмеялся. Генерал строго взглянул на меня, потянулся за табаком и долго возился с трубкой. Все же мне показалось, что в его желтоватых глазах мелькают веселые искорки.

— Скверно! — проворчал он. — Скверно, что ты, Сергей, смеешься, услышав, как майор наругал работнику моего штаба, подполковнику. Если все так будут смеяться, то у нас будет не дисциплина, а форменная труба! В первом же бою ты поймешь,

как важно офицеру быть сдержанным, корректным, а пожалуй и молчаливым. Я понял это сорок лет тому назад под Лаояном, а ты поймешь это завтра.

Он выпустил из-под усов густую струю синеватого дыма.

„В следующий раз я лично встретился с майором Селивановым на поле боя. Немцы вели крупное контрнаступление и временно имели тактический успех. Одна рота полка Селиванова была в танковой засаде. У реки создалось трудное положение и, разумеется, я приехал на этот участок.

Немцы уже переправились через реку и захватили две линии наших траншей. Мы отчетливо видели из леса бегущих от реки немецких автоматчиков. Я спросил майора, почему он не начинает контратаку.

— Рано. Они еще не спотыкаются.

Я ничего не понял.

— Разве не видите, товарищ генерал-лейтенант? Не спотыкаются! — грубовато заявил Селиванов.

— Товарищ майор, пора начинать контратаку!

Он вытащил пистолет и подал его мне.

— Зачем? — удивился я.

-- Застрелите меня, если проиграю бой! Немцы не спотыкаются. Рано!

И лишь через десять минут он повел танки и сбросил немцев в реку.

Вечером он объяснил мне, что ждал, когда немецкие автоматчики, а особенно бронебойщики нач-

нут спотыкаться, то есть устанут и не смогут оказать стойкого сопротивления.

И опять мне пришлось думать, почему Селиванов воюет умно, инициативно, я бы сказал, индивидуально, то есть самостоятельно думая, а говорит неправильно, грубо. Откуда этот наигрыш? Это лихачество? Так некоторые молодые летчики после первой победы начинают носить фуражку набекрень и плевать сквозь зубы. Я сделал доклад на эту тему офицерам штаба, но, сам понимаешь, одним докладом характер тридцатидвухлетнего человека не переделаешь...

А еще через день Селиванову пришлось вести в бой стрелковую роту. Война, Сереженька, состоит не только из побед. Ты об этом, видимо, знаешь пока только из книг. На войне всякое случается...

Майор пришел на КП, чтобы повидать... друга. Его танки уже были выведены в резерв. Командир стрелкового полка куда-то ушел по делам. Немцы возобновили контрнаступление на левом фланге, комбат был ранен, и стрелковая рота начала отходить. Она отходила медленно. Очень медленно. И все же она отходила.

Выхватив пистолет, Селиванов бросился к дверям землянки. Его ухватила за шинель девушка... Пожалуйста, не думай, Сережа, что тут было что-либо плохое. Майор — холостяк. Они условились начать совместную жизнь после окончания войны.

Она схватила его за рукав и закричала:

— Куда? Уже поздно! Сейчас начальник штаба придет! И люди не ваши! Оставайтесь! Оставайтесь!

А майор обернулся и тихо сказал:

— Наташа, если я останусь, вы перестанете любить меня.

И она отпустила его“.

Николай Платонович устало вздохнул и забарабанил морщинистыми, тщательно вымытыми пальцами по столу.

„Мы остановили немцев. Я приехал в полк Селиванова. Он вручал танкистам ордена и медали. Я оставил машину у шлагбаума, наказал часовым: „не предупреждайте“, и пошел среди кустов к поляне. Майор стоял у танка, согнувшись, словно его только что ударили „под вздох“; лицо обрюзгшее, желтое, под глазами „собачьи мешки“. Я невольно вспомнил все разговоры о его злоупотреблении алкоголем.

Вручив орден, он троекратно целовал своего танкиста. Меня удивило, что он все время морщился и с шумом втягивал в себя воздух, словно задыхался.

Один раз он оглянулся и крикнул:

— Миша, дай что-нибудь!

Ординарец подал ему фляжку, майор отхлебнул и облегченно вздохнул. Неужели пьян? Я не мог поверить этому.

Поздоровавшись и поздравив танкистов, я разрешил майору продолжать выдачу орденов. А сам отошел в сторону и говорю ординарцу:

— Дай мне флягу!

— Это вам не требуется, товарищ генерал-лейтенант!

— Ах ты, такой-сякой, — рассердился я, — давай сюда!

Горячее молоко! У майора были какие-то рези в желудке. — Посуди, в какой комуфляж я попал, — рассмеялся Николай Платонович, откидываясь на спинку стула. — Ну, вот и весь мой рассказ“.

— Вася, как у нас с чаем? — громко спросил он.

— А разве всегда был прав майор?

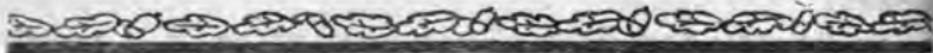
— Нет, не всегда. Но ты подумай, когда он был прав, а когда ошибался. Великий Маяковский сказал, что ему одно надо: чтобы было побольше поэтов хороших и разных! — Хороших и разных! — наставительно повторил генерал. — И мне нужны офицеры хорошие и разные. Умный офицер, — что это теперь значит? Ничего не значит. В разведке мне нужен офицер хитрый, в маневре — смелый до дерзости, в обороне — осторожный, в штабе — пунктуальный. Конечно, я говорю условно. Ты все же подумай о Селиванове, он заслуживает этого. Чтобы помочь тебе, скажу: я доволен, что в моем корпусе есть такой офицер. Хотя за этот год я и объявил ему два выговора.

— За что? — наивно спросил я.

— Догадайся, — хитровато усмехнулся Николай Платонович.

Ординарец на подносе внес дымящийся чайник, стаканы и вазочку с брусничным вареньем.

ПРЫЖОК В НЕИЗВЕСТНОЕ



1

Утром русские летчики бомбили станцию. Бомбы угодили в вагоны с боеприпасами. Уже давно скрылся в облаках последний „Петляков“, а взрыв за взрывом кромсал и корежил воинские эшелоны, вокзал, пакгаузы. Ураган огня бушевал на станционных путях.

Санитарные двуколки увозили в госпиталь лишь офицеров и эсэсовцев. Фельдшеры, наспех перевязав раненых солдат, грубо говорили:

— Прямо по шоссе, пять — шесть километров, иди!

И много дрожащих от боли и холода солдат, в коротеньких шинелях, с повязками, сквозь которые проступали пятна крови, брели к госпиталю. Иные из них изредка выходили на середину шоссе и поднимали руки, но грузовики проносились мимо: Гитлеру не нужны искалеченные солдаты...

Притаившийся рядом с шоссе, за густым кустарником, рослый широкоплечий человек, в подбитом мехом костюме и меховых сапогах, увидел, что

невдалеке от него, на сугроб упал какой-то немец.

Плотно прижимаясь к снегу, человек подполз по кювету к солдату. Живой? Нет, уже мертвый: потерял много крови, ослабел и замерз. Человек поволок за собою безжизненное тело. За надежной оградой покрытых снегом кустов он привстал и начал раздеваться: сбросил костюм, сапоги и поспешно натянул куртку, шинель и ботинки немецкого солдата. Теперь нужно покрепче затянуть поясной ремень и тогда уже никто не узнает в нем русского летчика, штурмана Васюту.

Вытащив санитарный пакет, Васюта аккуратно забинтовал себе голову. Особо тщательно он прикрыл белыми полосами марли рот. Затем, расшвыряв ногою снег у корней молодой сосны, он отыскал несколько ягод клюквы и, раздавив их пальцами, испачкал яркокрасным соком бинт на щеках и на лбу.

И вновь, как несколько часов тому назад — парашют, Васюта запрятал в сугроб свои вещи. Нужно было бы зарыть и труп, но пора уходить. Нарвав мелких сосновых веток, он укрыл ими тело немецкого солдата.

Когда Васюта вышел на шоссе, навстречу из-за поворота вылетел автомобиль. Сердце Васюты екнуло. Он не испугался, нет! Но ведь трудно выдавать себя за немецкого солдата, когда не знаешь ни одного слова по-немецки.

Грузовик промчался, гремя цепями по наезженной дороге. Через минуту мимо проехал офицер на рослой рыжей лошади. Он даже не взглянул на Васюту.

Медленно, опустив низко голову, побрел Васюта. Но не к передовым позициям, куда ему так хотелось идти, а в тыл, к госпиталю, куда и должен был, естественно, шагать раненый, с перевязанной головой немецкий солдат.

Васюта смертельно устал. В голове шумело, веки словно налились свинцом, он шатался и теперь действительно походил на раненого.

Он мечтал лишь об одном: забраться куда-нибудь в теплое местечко и уснуть. Кроме того, он был голоден. За весь день он съел одну плитку шоколада.

Маленький светложелтый автомобиль, колыхаясь на ухабах, ехал по шоссе

Поровнявшись с Васютой, машина остановилась. Приоткрывший дверцу офицер что-то сказал ему по-немецки. Васюта громко, жалобно замычал, показывая на свой завязанный рот.

Офицер вылез из машины и, размахивая руками, принялся кричать. Кивнув головой в знак того, что он понял, Васюта быстро пошел по дороге, чувствуя, что офицер провожает его злым взглядом.

Лишь на повороте Васюта разрешил себе оглянуться. Машина скрылась из виду. Васюта облегченно вздохнул.

Черные, угрюмо нахохлившие свои ветви, деревья все ближе и ближе подступали к шоссе, как бы окружая Васюту.

2

Длинная вереница грузовиков, накрытых брезентами, стояла на шоссе. На ступеньках одной машины сидел широколицый с красным носом шофер и жадно жевал кусок черного хлеба. Он весело прокричал что-то путнику, а тот, не останавливаясь, ответил ему так же как офицеру, протяжным, стонущим мычанием.

Миновав несколько машин, Васюта оглянулся. Рядом никого не было. Он решительно влез на грузовик и нырнул под брезент.

Между ящиками со снарядами была узкая щель.

Лежать было неудобно, мороз колючими волнами растекался по телу, но все же Васюте удалось задремать.

Сквозь сон он слышал, как визгнула дверца, в кабину влез шофер, грузовик рванулся и затрясся по ухабам.

Он не знал, куда едут эти машины. Он был голоден, тощая немецкая шинель не грела. „Ну ничего, ничего, — подумал Васюта, — я жив, а сейчас это самое главное“. Он уныло пососал озябший палец, пробормотал крепкое словечко и уснул.

Аэродром разведывательной эскадрильи был расположен в местечке Лесная Рамень, недалеко от шоссе, за сожженным немцами зданием школы, на льду озера.

В подвале школы жили летчики и механики. Окна были аккуратно забиты фанерой и листами тонкого картона. Железные печки обогревали низкое помещение, — раньше здесь была кухня и кладовые.

А в ванной комнате была устроена лаборатория: здесь проявляли и печатали снимки фашистских укреплений — дотов, завалов, железнодорожных станций, мостов, произведенные во время разведывательных полетов.

Вечером вестовой на мотоцикле увозил снимки и письменные донесения летчиков в штаб армии.

...В полдень на озере было тихо. Механики, сидя на крылечке, не спеша покуривали, поджидая, когда вернутся из полетов воздушные разведчики.

Снег был густо исчерчен нежно голубеющими полосами: следами лыж самолетов. Звонко упала с выступа стены сосулька, разбрызгав во все стороны мелкие льдинки.

— Самолет на горизонте! — протяжно крикнул часовой.

Механики вскочили и, перегоняя друг друга, побежали на озеро.

Низко над лесом показался самолет. Едва не задевая верхушки деревьев, он развернулся, и как-то неуклюже пошел на посадку. И тут механики заметили, что у самолета нет одной лыжи.

Машина сделала последний круг, затем как раненая, теряющая силы птица, пошла вниз и, едва коснувшись левой лыжей льда, опрокинулась на бок.

— Жив! Жив!

Выбравшись из кабины, летчик Тарасов бережно протянул механикам фотоаппарат.

— Ты ранен?

— Пустяки! Рука...

— Доктора!

С берега торопливо бежал высокий, черноусый человек, расстегивавший на ходу санитарную сумку.

— А где же Васюта?— удивленно спросил механик Зубковский.

Вторая кабина самолета была пуста. В суматохе механики не обратили на это внимания и теперь с тревогой взглянули на Тарасова.

Сняв шлем, Тарасов прижал кусок льда к пылающему лбу. Губы его запеклись, шершавые, сизые щеки ввалились, он тяжело дышал.

— Спрыгнул! Васютка прыгнул там... Чтобы я долетел. Слышите? Его надо искать...

4

В это утро низкие серые облака лениво ползли по небу. Самолет уверенно оторвался от снега и

пошел в высоту. Скоро остались позади и озеро, и мрачный остов сожженной школы, и шоссе, по которому непрерывно ползли к фронту танки, грузовики, подводы, бронемашины.

Порывы ветра сгрудили облака. Незамеченный врагами самолет пересек линию фронта. Через несколько минут гулко ударили где-то внизу, под облаками зенитки и вскоре затихли: немцы стреляли наугад, по гулу мотора.

— Первый привет! — шуточно сказал Васюта в переговорную трубку.

— Пусть балуются, — равнодушно ответил Тарасов.

Он повел машину на снижение. Внезапно ветер усилился: маленький самолет бросало из стороны в сторону. Барахтаясь среди облаков, машина, управляемая твердой рукой Тарасова, скользила к земле. Отыскав „окно“, Тарасов быстро вывел машину из кипени облаков.

Словно гигантские красносиние гусеницы, раскинулись на путях товарные поезда. За вокзалом, на шоссе была отчетливо видна вереница грузовиков. Черная яма зловеще зияла на фоне ослепительно блестящего снега. Это было разрушенное бомбами советских летчиков паровозное депо.

Человеческий глаз ненадежен. Летчик может забыть или перепутать то, что видел он во время разведывательного полета.

Но фотоаппарат ничего не забудет и ничего не спутает.

На пленку прочно ложились виды подъездных путей к станции, деревянного моста через глубокий овраг, по дну которого струилась быстрая река.

Еще недавно здесь был железобетонный мост, но русские летчики метко сбрасывают бомбы...

День был пасмурный и немцы не ожидали появления разведчиков. Молчала земля. Спокойно Тарасов сделал несколько кругов над станцией, не сомневаясь, что штурман Васюта успеет все заснять.

Но что там на холмах? Позади станции на снегу виднелись черные пятна земли. Сомнений не было — отступающие немцы строили здесь резервную линию укреплений. С высоты ясно виднелись глубокие котлованы и траншеи, надолбы, грузовики, нагруженные бревнами, груды камня.

Васюта, напряженно работавший фотоаппаратом, крикнул:

— Володя, домой!

— Есть, домой!

— Жми, Володя! Превосходные снимки! Об этой линии немецкой обороны мы еще не знали. Вот удача!

В это время замаскированная в лесу зенитная батарея немцев начала стрельбу. Круто увертываясь от разрывов снарядов, белыми и черными облачками вспухавших рядом с крыльями, Тарасов повел самолет в высоту, за тучи.

Вдруг машину резко тряхнуло. Тарасов ощутил резкую боль в левой руке. Ранен? Мотор стал давать перебои: порою он, как и раньше, могуче ревел, увлекая за собою самолет, но иногда затихал, и эти моменты внезапной тишины пугали.

— А ведь нас как будто задело! — сказал Васюта.

— Задело, — отозвался Тарасов.

— Дотянем?

— Надо дотянуть! — упрямо сказал Тарасов.

Вновь облака скрыли землю. Среди белесой пелены, теряя высоту, летел самолет.

— Нужно снижаться, — сказал Тарасов.

— Не смей!

— Лучше снизиться здесь в лесу, чем у линии фронта! Мотор поврежден!

— А если я спрыгну?

Тарасов на мгновение закрыл глаза. Руку ломило, это была тупая, мучительная боль, словно пилили тело пилою. Ну, куда прыгнет Васюта? Ведь немцы заметят его еще в воздухе и пристрелят.

— А если я спрыгну?

Тарасов молчал. Он не мог сказать Васюте, что если тот спрыгнет, то вес самолета уменьшится, тогда и с поврежденным мотором может быть удастся дотянуть до аэродрома.

— Во мне пять пудов, — сказал Васюта. — Посадил на свое горе...

В такую минуту он еще мог шутить. За это уважают людей!

— К вечеру снимки должны быть в штабе. Ну, до свидания, милый! Если не приду, напиши маме...

Васюта решительно перевалился через борт кабины, и облака разом скрыли его от взгляда Тарасова...

5

...Васюту разбудила лающая пальба зениток. Он приподнял брезент. Высоко в темном небе слышалось грозное, все нарастающее гудение самолетов.

Внезапно луч прожектора взметнулся в вышину и в свете его Васюта увидел крыло самолета с пятиконечной красной звездой.

Около грузовиков бегали взад и вперед, толкаясь и налетая друг на друга, испуганные шоферы. Офицер метался, потрясая пистолетом, и отдавал приказания. На всех машинах потухли фары. Густая, непроницаемая тьма легла на дорогу. Луч прожектора все шарил и шарил по небу, а в стороне за лесом непрерывно били зенитки.

Громовой удар потряс морозный воздух, хлопья снега обрушились с придорожных деревьев.

Прожектор потух, умолкли немецкие зенитки. Еще темнее стало на шоссе.

Васюта быстро спрыгнул с машины, ползком пробрался к кабине. Грузовик, на котором он ехал, стоял на пригорке, почти в самом конце колонны.

В кабине никого не было. Васюта рванул дверцу и включил фары.

Серебряный ручей заструился по снегу и ответно засверкали льдинки на дороге. Сосны как будто расступились перед этим потоком света.

За деревьями раздались испуганные крики. Неуклюже прыгая по глубоким сугробам, выскочил на шоссе офицер, за ним — шоферы. Но сразу же все они, как по сигналу, торопливо повернули и побежали в лес подальше от шоссе.

Васюта понял, что немцы боятся и нет среди них спокойного и смелого человека, который добежал бы до машины и погасил свет.

Сердце Васюты билось короткими, сильными ударами. Он включил фары и на второй машине, — еще светлее сделалось вокруг. Как огромные черные глыбы, обливаемые искрящимися потоками света, стояли немецкие грузовики.

Иссиня-белый клубок огня вспыхнул на шоссе, и ослепленному Васюте показалось, что кто-то могучей рукой схватил его и подбросил вверх. Перевернувшись, теряя дыхание, он тяжело упал.

Русские бомбы одна за другой ложились на шоссе, руша грузовики, далеко расшвыривая ящики со снарядами, которые взрывались, не успев коснуться земли. Падали подрезанные страшной силой взрывов сосны.

Васюта бежал, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, вглубь леса, подальше от грохочущего шквала огня. Внезапно он услышал сильный вой

падающей бомбы, упал, прижался к снегу; неимоверно страшная тяжесть обрушилась на спину, мучительная боль пронзила сердце и ему стало все равно.

6

— Нет, брат, ты эти шутки брось! — закричал доктор. — Если ранен, то — лежи! Лежи! И без тебя найдут Васюту!

— Нет, мне надо лететь, Иван Кузьмич!

— Я вам, уважаемый товарищ лейтенант, сейчас не Иван Кузьмич, а капитан медицинской службы.

— Да Иван...

— Молчать! Ложись! Я не разрешал тебе разговаривать!

— Разрешите.

— Не разрешаю!

Взяв Тарасова за плечи, доктор уложил его на кровать и накрыл с головой одеялом.

С минуту оба молчали.

Доктор, решив, что пациент успокоился, отошел и принялся подкладывать в печурку дрова.

— Ива-ан Кузьмич! — заговорил Тарасов приподнимаясь. — Не могу я лежать. Пойми! Я же легко ранен...

В дверь постучали.

— Войдите.

Ровным шагом в комнату вошел командир полка.

— Как наш больной?

— Вот полюбуйтесь, товарищ подполковник! Не лежится ему! Хочет искать Васюту!

— Нельзя, товарищ лейтенант, придется полечиться.

— А как же Васюта? Что ж, погибать ему?

— Васюту я полечу искать, — сказал подполковник. — Мне машину приготовили.

— Вы не найдете.

— Найду! Сейчас вы подробно расскажете, где он спрыгнул. Вот я и найду!

— Снег, леса... Разрешите мне — штурманом!

— А куда же мы Васюту посадим?

Тарасов смущенно посмотрел на белый, косо летящий в вышине потолок. Прав командир, — тут спорить не приходится.

— А если взять почтовую машину? — робко сказал он.

— Почтовую? — подполковник задумался. — Тихий ход. Но впрочем... как доктор...

— Что доктор? — сердито отозвался Иван Кузьмич. — Доктор давно говорит: „нельзя!“ Ну, ладно... и, махнув рукою, доктор стал помогать Тарасову одеваться.

7

Он почувствовал на себе чей-то упорный, тяжелый взгляд и открыл глаза.

Коренастый старик, в рыжем полушубке, с неровно, клочьями подстриженной седеющей бородой,

стоял на коленях около Васюты. Обеими руками он держал над его головой топор.

— Стой! — взвыл Васюта, рванувшись в сторону. — Стой! Я — русский!

— Не брешь, собака, — прошипел старик. — Перед смертью хоть не ври...

— Русский летчик! Одурел, старый чорт?

— А! Ты — ругаться! — рассвирепел старик и вновь взял топор. — Молись богу, если веришь... Сейчас прикончу!

Васюта сделал попытку приподняться, но с коротким стоном упал на сугроб. Во всем теле бродила глухая боль. Конец! И ничего тут не поделаешь, если лежит он — беспомощный, ослабевший от ран, неподвижный, как обрубок дерева.

— Русский! — крикнул он, с отчаянием глядя на старика. — Летчик!

— А форма — немецкая...

— Надел, чтоб не поймали! Ты как думаешь, старый болван, — сердито рывкнул Васюта, — я в своем костюме среди немцев по шоссе пойду? Нашел дурака! Партизан?

— Молчи! — гневно прикрикнул старик, тряся бородой. — Ишь, пряткий... Сейчас подохнет, как пес, а выспрашивает...

— Батя! — жалобно сказал Васюта. — Не лукавь... Партизан ведь?

— Я — партизан-единоличник! — торжественно сказал старик. — Бью немцев, как совесть велит и товарищ Сталин!

— Да ей-богу, я—русский! Прыгнул с самолета.

— Не божись, пес! Мне один жулик три раза „отче наш“ прочитал, а оказался—шпион, искал партизанов, и я, Иван Никодимов, его убил! И тебе сейчас конец!

— Батя,—протянул руки Васюта,— не бери греха на душу! Нет тебе прощенья, если убьешь русского человека!

Но внезапно кто-то положил тяжелый камень на его грудь, захрипело, заклокотало в горле и Васюта потерял сознание...

8

Поздним вечером в небе ослепительно вспыхнула ракета, озарив прибрежные деревья и озеро злое еще багровым светом.

И в тот же миг на льду озера зажегся прожектор. Сверкающий луч, как огненный меч, разрубил темноту, и в радужно блестящем свете его над лесом показался идущий на посадку самолет.

Выключив мотор, подполковник легко спрыгнул на лед и, бережно поддерживая Тарасова, помог ему выбраться из кабины.

Стоящие вокруг механики и летчики молчали.

В самолете Васюты не было.

Не нашли Васюта.

Потух прожектор. Кромешная мгла окутала озеро неправдоподобно ровное, светлое, похожее на выпуклый глаз огромной рыбы.

Большая, мазаная известкой печь дышала теплом. Сквозь заиндевелое окно пробивались лучи солнца. Васюта поднял голову. Где он? Бесшумно открылась дверь, и в комнату вошла невысокая, старая женщина. Опустившись на табурет, она посмотрела на Васюту долгим, ласковым взглядом.

— Очнулся? И-и-и, сердешный, как поранили тебя! Живого места нет. Как я мужика ругала—ослеп, идол, за немца своего человека принял. Али глаз нету? Ты в бреду все его матерком, матерком...—Старуха склонилась над Васютой и провела теплой рукой по его щеке:—Не бойся, сюда немцы не придут...

Так потекла жизнь Васюты в одинокой избе лесника.

Утром старуха топила печь, готовила скудный обед, а Иван Петрович хозяйствовал на дворе или в сарае, где стояла их единственная корова.

Вечером, сидя на низеньком чурбаке, старик вырезал из дерева дергунчиков, которые, если потянуть за бечевку, смешно двигали ногами и руками. Бог знает, кому он собирался теперь продать эти детские игрушки!

— Ты мне одно скажи, командир,—басовито ворчал он, поглядывая на Васюту,—Гитлер—антихрист или обыкновенный человек?

— Ну, человек,—сонно отвечал лежащий на постели Васюта.

Иван Петрович недоверчиво усмехался.

— Че-ло-век?! В Песках немцы все дома пожгли, православных убили, малых деток не пощадили. А чей указ? Гитлера! Значит, он—сатана, князь тьмы!

— Ну, сатана,—отзывался сквозь сон Васюта.

— Ты, командир, все науки произошел, на самолете летал, а тут—не допонимаешь, в чем корень...

А старуха сидела на печке, дремала и изредка бормотала, обращаясь к Васюте:

— Ты, сынок, не серчай на старика. Его бес попутал, что на тебя руку поднял...

— Ну, не сержусь,—говорил Васюта и засыпал.

10

Однажды выдался теплый солнечный день.

С крыши падали тяжелые капли, ясное, синее небо раскинулось над поляной. Медленно плывущие одинокие облака казались сугробами, отраженными в небе, как в зеркале.

Надев полушубок старика и держась за стенку, Васюта вышел на крыльцо.

Иван Петрович рубил дрова у сарая. Увидев Васюту, он усмехнулся и крикнул:

— Распогодилось! Ну, весна, как есть весна!

Васюта слышал медленный гул, напоминающий ему шум моря. В небе, в страшной, почти недоступной глазу высоте, показались самолеты и мерный гул их моторов доносился до земли.

Шли в небе русские самолеты в тыл врага, и у штурвалов сидели друзья Васюты.

Запрокинув голову, стоял он на крыльце, и слезы текли по его щекам. Скоро ли увидит их Васюта?

Он вспомнил своих друзей и подумал, что он сделал в эти дни все, что смог, чтобы они гордились им. Это не было чувство мелкого тщеславия.

Однажды майским днем, сидя на школьной парте у окна, за которым была видна серая, плавно несущая воды свои Нева и Летний сад в зеленом облаке листвы, он написал в дневнике:

„Если придется умирать, то умирай агитационно“, — так сказал Фурманов. Думаю ли я о смерти? Совсем не думаю. Но сознаю в себе силу спокойно встретить гибель в бою. Только в бою, а не на постели...

Ему было тогда семнадцать. Прошло с той поры всего семь лет. Разве он потерял свою былую веру, свою чистоту?

11

Ночь. Густая колеблющаяся темнота окружала Васюту. Он приподнялся. Нет, ему не приснилось это: на крыльце какой-то незнакомый мужчина говорил со стариком. Он спрашивал, а Иван Петрович униженным тоном в чем-то оправдывался. С кем говорил старик?

Скрипнула половица, черная тень появилась в комнате, — вошла старуха, шлепая босыми ногами. Она набросила на Васюту одеяло, полушубок, она проворно бегала по избе, собирая всякую рухлядь, носила за перегородку и скоро Васюта был завален с ног до головы.

Открылась дверь, старуха зажгла светильник. Хриплый голос чужого человека стал слышен отчетливо и ясно.

Васюта притаился, как мышь в норе.

Теперь в разговор вступила старуха. И она о чем-то плакала. Хлопнула дверь. Ушел?

Васюта высвободил голову.

За окном громко скрипнул снег — и там люди были. Внезапно сердце Васюты замерло. Бойкой Ярославской скороговоркой кто-то сказал:

— Что он там возится? Старики ничего не знают. Живут, как медведи в берлоге. Озверели! Надо итти дальше!

И снова послышался хриплый голос человека, который только-что заходил в дом.

— Старики приняли меня за „полицая“. Стали уверять, что они ни в чем не виноваты. И все же Васюта спрыгнул где-то здесь...

— А найди-ка! И жив ли?

Васюта рванулся, но тут же упал на кровать. Налетев на него, старик вдавил Васюту в подушки, зажал ладонью рот. Напрасно барахтался Васюта. Старик был сильнее его, пахнувшая табаком ладонь плотно сжимала его рот.

Наконец Иван Петрович отпустил Васюту.

— Наши! Наши разведчики! — орал Васюта. — Понимаешь? Русские! Меня искали!

Иван Петрович удивленно взглянул на жену. Нет, это — „полицай“, на них немецкая форма, они искали русского летчика. Они убили бы Васюту. Видно, Васюта рехнулся. Он вопит, размахивает руками и едва не плачет.

Васюта увидел, что старики не поймут его и молча уткнулся лицом в теплые подушки.

12

Со скуки Васюта решил вместе со стариком вырезать деревянных клоунов. Каждый день теперь сидели они на низеньких чурбачках и ловко орудовали ножами, засыпая колени мягкими, пахнущими смолой стружками. Старик напевал тоскливые, протяжные песни, а Васюта насвистывал лихо и громко: „Если завтра война“...

Ночами на горизонте сверкали багровые вспышки, словно в летнюю жару, в засуху играли на небе зарницы.

Фронт приближался. Где-то за лесом шли ожесточенные бои, доблестные полки Красной Армии гнали на запад немцев.

...Как-то раз под вечер Васюта помогал старику перебирать картошку в погребе, что был неподалеку от избы.

На крыльце затрещали доски под ногами старухи. Она подбежала к погребу и заговорила сбивчиво, взволнованно:

— Немцы... из леса вышли... ох, горе лютое...

Иван Петрович побелел, быстро выпрыгнул из погреба и, словно забыв о Васюте, захлопнув крышку, положил на нее толстый обрубок дерева.

Васюта сумел поднять тяжелые доски и выглянул в щель.

Пять верхоконных стояли около избы. „Не свои ли?“ — мелькнуло в голове Васюты. Но, взглянув на всадников, он покачал головою.

Два немца ловко спрыгнули с коней и молча пошли к сараю. Иван Петрович заковылял за ними.

Выведа из сарая корову, высокий, с худым, злым лицом, немец умело воткнул кинжал ей в горло, горячим потоком хлынула кровь.

Затем, оттолкнув плачущую старуху, немцы понесли в дом большие охапки соломы.

Неожиданно Иван Петрович рванулся и, объятый гневом, с развевающейся бородой, выкрикивая бессвязные слова, схватил у стены лопату и бросился на немцев.

В тишине сухо щелкнул револьверный выстрел. Ефрейтор усмехнулся, выбросил на снег дымящуюся гильзу и неторопливо прицелился в старуху...

Васюта вскочил, выпрямился и плечами попытался поднять крышку. Его пистолет остался в избе. Пять немцев... И все же он не мог сидеть в погребе! Придавленная обрубком дерева крышка при-

поднялась и снова захлопнулась, ноги Васюты подкосились и он, почувствовав, как боль пронзила все его еще слабое после ранения тело, опустился на землю...

Жарко запылали в безмолвии безветренного вечера бревенчатые стены. Сверкнуло пламя на сеновале.

Немцы повернули коней и скрылись в чаще. Они торопились. До прихода передовых частей Красной Армии им надо было сжечь еще немало хуторов в этом глухом лесу.

Наконец Васюте удалось выбраться из погреба. Еще тянуло жаром от тлеющих углей, еще сладковато-жирный дым клубился над кучами золы и снег вокруг был загажен копотью и пеплом.

Он вырыл могилу и мерзлыми комьями земли прикрыл тела Ивана Петровича и Марфы Андреевны. На дощечке он написал химическим карандашом: „Здесь похоронены партизан-герой Иван Никодимов и его жена Марфа“. Он постоял у низкого холмика, молча глядя на черные деревья, похожие на огромных птиц, уставших от длинного перелета и отдыхающих на снегу...

Надо идти. Он уже здоров. Во всяком случае здоров настолько, что может уйти отсюда. Что ждет его? Незачем думать об этом. Как тихо в лесу! Пробраться к своим — вот одно стремление...

Васюта упрямо шел по лесу, кусая распухшие губы, чтобы не стонать от боли.

Он шел мелкими шагами и часто ложился на

снег. Но это ему только казалось, что он ложится. На самом деле он терял сознание от слабости и падал.

Цепляясь за ветви кустов, Васюта вновь подымался и, барахтаясь в рыхлом снегу, брел туда, где, по его предположениям, было шоссе.

14

Обросший густой бородой, в рваной куртке, с сизым от стужи лицом, грузный человек выбежал из леса.

Он пробежал несколько шагов и упал в канаву, с трудом приподнялся и снова рухнул и, протягивая вперед трясущиеся руки, закричал:

— Товарищи! Свой! Не стреляйте! Товарищи! Красноармейцы подняли его и понесли.

В землянке он лег на теплую землю около докрасна нагретой железной печурки и мгновенно заснул.

— Что за чорт! — удивленно сказал капитан. — Где он был? У медведя в берлоге? Где вы его нашли?

— Он вышел из леса, товарищ капитан, — ответил начальник дозора. — Полагаю, партизан...

— Ну, пусть спит, утром разберемся, — сказал капитан.

По шоссе, сотрясая землю, вздымая снежные вихри, шли могучие танки.

ПОБЕДИТЕЛЬ

1

Весь день до обеда Юрий Верхоглядов — командир отряда дальних разведчиков, бывший студент четвертого курса филологического факультета Ленинградского университета — спал в землянке, на нарах, около жарко натопленной железной печки.

После сытного обеда он принялся за смазку лыж.

Погода стояла сырая; чтобы мокрый зернистый снег не прилипал, Верхоглядов смазал лыжи норвежской мазью из жидкой смолы, парафина и рисовой муки.

Смазка лыж — дело серьезное и ответственное. Если разведчик неудачно смажет лыжи, то он на каждом шагу теряет около десяти сантиметров. А если ему сегодня ночью придется пройти пятьдесят километров? Сколько энергии он потратит зря, впустую?

Было уже темно, когда Верхоглядов пошел в штаб полка, — там он получил приказ и проложил на карте маршрут дальней разведки.

— В добрый путь, товарищ Верхоглядов, — сказал на прощание начальник штаба, — задание трудное, но верю — вы с ним справитесь. Финским языком вы владеете отлично — хвала профессорам университета! Лыжи. Бокс. Великолепный спортсмен. Отважное сердце. Чего еще желать?

— Сделаю все, что приказано, товарищ капитан, — сказал Верхоглядов.

При случайном взгляде на Верхоглядова, благодаря малому росту, обветренному лицу и скучающему виду, — его можно было не заметить в строю бойцов. Но пристальный взгляд отмечал в нем крупную голову с белокурыми волосами над высоким лбом, пронизательные серые глаза.

Он пошел по тропинке от штаба к передовым позициям, положив на плечо лыжи. На нем был белый халат и даже короткоствольный автомат был в белом чехле.

И вскоре его негромко окликнули из темноты:

— Кто идет?

— Разведка, — тихо ответил Верхоглядов.

Он поговорил с часовым, зорко оглядел поляну, затопленную серым туманом, — за ней уже были передовые посты финнов.

Дальше тропинки не было. Верхоглядов встал на лыжи и, согнувшись, пошел вдоль невысоких кустов к озеру и скоро его белый халат слился со снегом.

Он поспешно перебежал от куста к кусту, а

когда нужно было пройти под деревом, то почти ложился на лыжи, чтобы не задеть ветки.

Трудно вообразить что-либо более тихое, чем падение снежных хлопьев с дерева.

Но в глубокой, как омут, тишине зимней ночи и этот еле различимый шорох могут услышать враги...

К левой ноге Верхоглядова была привязана сосновая лапа, чтобы замечать следы от лыж.

Все вокруг было белое: и неправдоподобно ровное, окруженное лесом, озеро, и уходящие в даль широкими волнами сугробы, и низкое, глухое небо.

Верхоглядов шел к озеру Волчий Клык и все его мысли, все чувства были поглощены одним: идти быстро, но бесшумно, как можно скорее пройти передовые посты финнов, но остаться незамеченным.

Он шел попеременным ходом, растянутым, эластичным шагом, легко скользя с ноги на ногу, поочередно отталкиваясь палками. Это был красивый ход, но главное — быстрый.

Уже и озеро осталось позади, и теперь сосны ровными рядами стояли на его пути, ветер монотонно шумел в вершинах, а Верхоглядов все бежал вперед, желая за ночь как можно дальше уйти от линии фронта в тыл врага, туда, где меньше всего ждали финны русского разведчика.

Внезапно Верхоглядов остановился. Какое-то необъяснимое предчувствие опасности, знакомое охот-

никам и солдатам, заставило его остановиться и снять с плеча автомат.

— Кто идет?—спросили по-фински из кустов.

— Свои! Разведка!—тоже по-фински ответил Верхоглядов, выпрямился и, уверенно шлепая лыжами по снегу, выпрыгнул вперед.

Часовой, угрюмо и недоверчиво глядя на приближающегося к нему Верхоглядова, сказал:

— Пропуск?

— Как же я могу знать пропуск, если был три дня в тылу у русских?—весело спросил Юрий и, остановившись, глубоко вонзил палки в снег. —Я совершил удачную вылазку и у меня здесь, —он хлопал себя по груди,—очень, очень важные документы.

— Скажите старый пропуск,—попросил часовой.

Он опустил винтовку и уже не так подозрительно смотрел на Юрия,—этот разведчик хорошо говорил по-фински и, кроме того, держался очень самоуверенно.

— А ты его знаешь? Ведь ты его не знаешь! Я прошел фронт совсем в другом месте, а возвращаюсь здесь. Ну, я скажу тебе: птица, Великая Финляндия, танк, гранит. Ты поверишь? Нет, ты не поверишь. Значит, молчи и веди меня в штаб. Мне необходимо сейчас же по телефону передать некоторые материалы разведки.

— Я не могу уйти с поста.

— Скажи, как пройти в штаб.

— Нет, я не имею права сказать вам об этом, — упрямо сказал часовой.

— Тогда я сам пойду искать штаб.

— Я не отпущу вас. Скоро придет начальник караула, он выяснит, кто вы.

Юрий подумал: „Ну, голубчк, я совсем не хочу видеть твоего начальника“ — и внимательно взглянул на часового.

У безбородого, тщедушного солдата было сизое от мороза лицо: он, видимо, давно стоял на посту и окоченел. Коробящаяся тоненькая шинель неловко сидела на нем, а шея была окутана обрывком грязного шарфа.

Неожиданно прыгнув вперед, Верхоглядов молниеносным ударом опрокинул солдата на снег. Тот слабо охнул и упал, чтобы больше никогда не ходить по русской земле, никогда не стоять на посту, никогда не носить рваную форму солдата финской армии.

Юрий вынул из рук солдата автомат, снял с пояса сумку с гранатами: все это нужно было унести подальше и зарыть в снег. Из кармана мундира часового он вынул бумажник с документами, письма, фотографические карточки: пригодится...

И, снова сгибаясь, выбрасывая вперед палки и сильным рывком подтягивая тело, он помчался по лесу вперед и вперед, к шоссе и дороге.

2

Шоферы грузовых машин, ездовые военных обозов, посасывая кривые трубки, спокойно смотрели на

заснеженные сосны, высокой шеренгой стоящие вдоль шоссе. Фронт—далеко и выстрелы тяжелых орудий слышны глухо, как шум моря...

А в ста метрах от шоссе, в чаще ельника, сидел в глубоком снежном окопе, накрывшись белым халатом, Юрий Верхоглядов.

День был теплый.

Да, было тепло тем, кто в это время бежал на лыжах или шел по дороге.

Но как мучительно было, согнувшись, сидеть весь день в снегу, чувствуя, как постепенно начинают зябнуть ноги, закутанные в сырые от пота портянки, как деревянеют пальцы ног.

Нестерпимо тянет закурить, но курить нельзя. Запах табака далеко слышен по ветру. Можно только спать. Даже не спать, а дремать, поминутно просыпаясь из опасения быть обнаруженным.

Он чутко прислушивался к гулу моторов на шоссе, к хриплым голосам ездовых, к шороху падающих с ветвей хлопьев снега.

Он ждал ночи.

Вот и пришла ночь. Верхоглядов лежит в канаве, за пеньком, около самой дороги, белый халат сливается с белизной снега.

Проехала длинная колонна грузовых машин. Конечно, хорошо бы бросить парочку гранат и дать очередь из автомата. Как бы перепугались финны! В шестидесяти километрах от линии фронта—засада русских партизан.

Нет, дальнему разведчику надо ждать более богатой добычи. Он должен захватить штабного офицера или курьера с военной почтой, или вестового с донесением. Вот зачем он пришел в глубокий тыл противника...

И когда на пустую дорогу выехал длинный черный автомобиль, Верхоглядов уверенно встал и, выйдя на шоссе, поднял вверх правую руку.

Тормоза заскрежетали и машина остановилась перед самой грудью Верхоглядова.

Шофер выключил фары.

Рядом с шофером сидел офицер в светлорыжей шинели. Приоткрыв дверцу, он наставил на Верхоглядова пистолет и испуганно закричал:

—Кто? В чем дело?

—Патруль. Простите за беспокойство, господин майор,—на чистейшем финском языке сказал Юрий.

—Фу-у,—облегченно вздохнул офицер.—Эти проклятые партизаны...—Он внимательно посмотрел на румяное, пышущее здоровьем лицо Верхоглядова.—Ну, что нужно?

—Перемена пропуска, господин майор,—вежливо сказал Юрий.—Перемена пропуска по всей линии.

Часовой по уставу—лицо неприкосновенное и обладает особыми правами: его приказы обязаны выполнять все солдаты и офицеры.

—Слушаю вас,—сказал, заметно успокоившись, офицер, выставляя наружу голову в мохнатой шапке. Верхоглядов вырвал из кармана гранату, ударил

офицера в висок, и, прежде чем тот успел что-либо понять, он был уже мертв.

Шофер, выкрикивая что-то противным, лающим голосом, тянул из-за пояса пистолет.

Но поздно, слишком поздно...

„Вполне удовлетворительное знание финского языка,—думал не без доли тщеславия, впрочем вполне оправданного, Юрий Верхоглядов.—Ленинградский университет может быть доволен своим студентом“.

Как тихо на дороге! Глухая, зимняя ночь..... На всякий случай он перенес в кусты трупы офицера и шофера. Присев на ступеньку автомобиля, он начал бегом проглядывать бумаги из полевой сумки офицера. У него захолонуло сердце. Это были материалы исключительного значения. Он зажмурился, словно не верил своим глазам. В его руках сейчас были оперативные материалы штаба пехотного корпуса.

—Та-ак,—протяжно сказал он.—Пока все идет хорошо. Мне посчастливилось. Признаться, я не ожидал такого успеха. Теперь в обратный путь.

За поворотом зашумело.

На шоссе выскочил и на большой скорости приблизился к Верхоглядову, гремя цепями по снегу, автомобиль. На нем огромной грудой лежали связки лыж и сидело несколько солдат.

Грузовик проскочил вперед и остановился.

—В чем дело?—крикнули с грузовика.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — сказал спокойно по-фински Верхоглядов. — Я сейчас поеду дальше.

Два человека спрыгнули с грузовика и пошли к нему.

— Около реки засада партизан, — сказал широкоплечий, обрюзгший офицер. — Мы едва проскочили. А машина обер-лейтенанта Мюллера разбита. И он погиб... Ты один в машине? — спросил офицер.

— Так точно, господин офицер!

— Господин майор!

— Простите, господин майор, в темноте не видно знаков отличия.

— Какого полка?

— Двести шестьдесят седьмого, — сказал Юрий. Он точно знал, что в этом районе расквартирован этот полк.

— Я поеду в вашей машине, — сказал офицер. На грузовике выбиты все стекла, холод страшный... „Чтоб тебя чорт побрал“, — подумал сердито Верхоглядов. — „Навязались на мое горе“. — И почтительно сказал:

— Пожалуйста, господин майор. Солдат, видимо, денщик офицера, полез в кабину.

— Можете ехать, — разрешил майор, усаживаясь на переднее место, рядом с рулем.

— Простите, господин майор, сейчас я привяжу к верху машины свои лыжи.

— Лыжник?

— Так точно, господин майор.

— То-то я смотрю, что ты хорошо одет.

Плотно привязав свои лыжи, Юрий сел за руль, и с глухим завыванием машина понесла его и двух финнов по шоссе. Куда? „К дьяволу на рога. В мякину. В тар-тарары“, — уныло подумал Юрий. Но уже нельзя было рассуждать.

Он погнал машину со все возрастающей скоростью, а позади, рассекая со свистом морозный воздух, ехал грузовик. Майор, засунув широкий покрасневший нос в ворот шинели, угрюмо молчал, поминутно зевая и охая.

Машина въехала в деревню. Почти все дома были сожжены и разрушены. На перекрестке столпились автомобили, бронированные повозки, тягачи. Везде бродили финские солдаты.

— Стой, — приказал майор. — Я пойду в штаб корпуса, а ты подожди.

— Слушаю.

Юрий вылез из машины и прошелся вокруг, разминая затекшие ноги. У длинноногого солдата он перехватил тоненькую, отвратительную по вкусу папироску, мирно поговорил с ним и очень довольный, что его внешний вид и финское произношение не вызывают сомнений, начал отвязывать лыжи.

— Зачем ты отвязываешь лыжи? — спросил денщик.

— Не твое дело! — грубо ответил Юрий. — Придет господин майор и я ему объясню...

К автомобилю мелкими, упругими шагами приблизился низкорослый человек в лыжном костюме.

— Как-будто машина обер-лейтенанта Карьялла? — спросил он.

— Да-а...

— А где же Карьялла?

— Господин обер-лейтенант Карьялла остался в штабе дивизии, — отчеканил металлическим голосом Юрий. Ему было понятно, что пора убегать. Но как выбраться из деревни, где, несмотря на поздний час, на улице так много солдат?

— Ты лыжник? — спросил низкорослый человек.

— Из команды лыжников, — проверяя крепления, угрюмо проворчал Юрий.

— Почему же я не знаю тебя?

— Я из двести шестьдесят седьмого полка, — сказал Юрий.

— Я на-днях инспектировал лыжников этого полка.

— Я тоже не знаю вас, — нахально сказал Верхоглядов, — а не удивляюсь этому!

— Ты меня не знаешь? — удивленно спросил человек в лыжном костюме. — Посмотри! — Он включил электрический фонарик, и Юрий увидел сухое, полное внутреннего напряжения, лицо с резко выдающимися скулами и тонкими, плоскими губами.

— Боже мой, Нурри! — взволнованно вскричал Юрий. Нурри самодовольно улыбнулся:

— Узнал?

Но внезапно он нахмурил брови.

— Подожди... подожди, — медленно сказал он. — Вер... Вер-хо-гля-дов... Как вы попали сюда?

На плакате сухое, полное напряжения, лицо, с резко выдающимися скулами и тонкими, плоскими губами.

Волны сухого снега заметали плакат и яркосиние буквы: Нурри.

Волны снега неслись по холмам, и ветер слепил глаза бегущего вниз по склону горы Верхоглядова.

Изредка он оглядывался. Нурри отстал. Еще одно усилие. Красные флажки приказали: поворот направо. И Юрий повернул направо. Там, за огромным озером — финиш международных лыжных гонок. Он слышит, как поют трубы духового оркестра: вперед, вперед!

Он слышит, как ветер, взметающий снег, ободряюще гудит: вперед, Юрий, вперед...

Близок финиш. Отстал Нурри. Еще огромная белизна озера. Сейчас он, как камень, выпущенный из пращи, промчится через это озеро и в его честь, в честь советского лыжника, победителя международных состязаний тысяча девятьсот тридцать восьмого года в Стокгольме, будут петь трубы духовых оркестров.

Но труден последний бег по заледенелым сугробам огромного озера. И ветер плотной лавиной мчится теперь навстречу Юрию. И слабеют его ноги. Разве не осталось в его сердце отваги? Разве не так же, как прежде, крепки и сильны его мускулы?

Вот-вот — бег последний и настигает его Нурри, чужой лыжник, угрюмый его соперник, „снежная молния“, как пишут о нем в газетах. Неужели опять увезет с собою Нурри кубок победителя — который по счету?

Визгливо скрипнул снег за его спиной.

Нурри рывком обогнал Верхоглядова и, сильно работая палками, побежал к темнеющему в предвечерних сумерках берегу.

Читатели экстренных выпусков газет видели в тот вечер портрет победителя международных гонок — сухое, полное напряжения лицо с резко выдающимися скулами и тонкими, плоскими губами.

В беседе с журналистами Нурри заявил, что Юрий Верхоглядов — великолепный лыжник мирового класса, но он еще не умеет экономно расходовать свои силы.

4

— Верхоглядов? — повторил изумленно Нурри. — Как вы очутились здесь?

Теперь нужно было действовать. Бесполезно было бы отвечать своему недавнему победителю. Юрия могли спасти лишь смелость и быстрота.

Не успел Нурри выхватить пистолет, как Верхоглядов ногою пнул его вниз живота, сильным толчком опрокинул на него денщика майора и, ловко

перепрыгнув через барахтающихся финнов, схватил лыжи.

Забежав за угол дома, он наскоро затянул крепления, но уже беспорядочные выстрелы взбудоражили ночную темноту.

Теперь ему приходилось надеяться на свои сильные ноги, на свою смелую голову, на крепкое молодое тело. Разве этого мало?

Он выскочил на дорогу, стрелой пересек ее и ворвался в лес.

Плохо лишь, что его лыжи были смазаны для мокрого снега, а уже с вечера мороз крепчал и сухой, колкий, словно осколки стекла, снег так и шуршал под лыжами, сдирая, как рубанком, смолу.

Пуля прожужжала над его головой.

Он оглянулся.

За ним гнался Нурри. Как, вероятно, он злился сейчас, какая ненависть к Юрию клокотала в нем! Подумать только, — рядом с ним стоял и мирно беседовал русский разведчик. И ускользнул. Но не рано ли решил Юрий, что ему удалось ускользнуть от Нурри?

На бегу, вынув пистолет, Верхоглядов выстрелил. Но Нурри и не шелохнулся. Тогда Юрий понял, что на бегу стрелять не следует и остановился.

Тотчас Нурри упал в кусты и воздух около Юрия так и заныл, так и зазвенел от проносившихся пуль.

Это был опытный противник.

Верхоглядков несколько раз выстрелил, метнулся в сторону и снова побежал.

Сейчас он бежал так быстро, как не бегал еще ни разу. Ему нужно было доставить в штаб полевую сумку финского офицера с оперативными документами, а кроме того, спасти свою жизнь.

Если бы он знал, что Нурри впопыхах не взял запасные обоймы для пистолета, то чувствовал бы себя спокойнее.

Но ведь он не мог знать этого и думал, что Нурри хочет взять его в плен.

Изредка оглядываясь, он с удивлением видел, что Нурри неуверенно съезжает с горы. Едва путь шел вниз, Верхоглядов легко отрывался от преследователя и быстро уходил вперед.

Он вспомнил, что и на состязаниях Нурри всегда терял скорость при спуске с горы. Почему? Какая-то странная боязнь высоты.

Но в подъеме на гору финн был ловок и силен. С удивительной быстротой он карабкался на крутые уступы.

И Верхоглядов все ближе и ближе чувствовал его тяжелое, жаркое дыхание.

А бежать Юрию было все труднее. Ночью он прошел не менее шестидесяти километров. За сутки спал два часа на снегу. Теперь он бежал одним напряжением воли. На рассвете нужно вручить начальнику штаба полевую сумку финского офицера. Свистящее дыхание вырывалось из его рта. Он бежал, налегая на палки и привычным движением ног направляя лыжи по верному следу.

Когда его окликнул по-фински из мглы часовой, он круто свернул вправо и метнулся в кусты. Засада! Стреляя на ходу, финны длинной цепочкой выбежали навстречу Верхоглядову.

Юрий упал за широкий пенёк и вскинул автомат. На поляну выскочил толстый финн. У него было широкое, желтое лицо. Он умер, не успев вскрикнуть... А Верхоглядов бил из автомата в темноту и каждый выстрел отдавался в его теле глухой болью: все меньше патронов, все ближе конец...

Он подстрелил трех финнов и солдаты залегли, и пули протянули над его головою паутину звонких струн.

— А где же Нурри? — подумал он, приподнявшись, швырнул гранату и, не снимая лыж, пополз в кусты. Там он вскочил, низко пригибаясь, прыгнул вперед.

Он очутился на гребне холма. Внизу, к озеру тянулся густой, сосновый лес. Он рванулся и полетел вниз. Твердый, окаменелый от морозов сугроб, как трамплин, подбросил его вверх. Плавно присев, Юрий мягко опустился на снег и снова, как бы проваливаясь в пустоту, покатился к озеру.

Холодный ветер слепил глаза, слезы замерзли на ресницах, а он стремился дальше и дальше в лес, боясь оглянуться, чтобы не потерять время.

Он вбежал в лес и все потемнело вокруг. Сосна. Он круто свернул и промчался рядом, едва не задев плечом дерево.

Нужно было молниеносно находить лазейку среди тесно столпившихся деревьев, а гора, как зло, подсовывала ему на пути сосны, и он кружил и кружил, теряя скорость и выбиваясь из сил.

Неожиданно круглая поляна сверкнула перед ним.

Наперерез ему бежал Нурри. Видимо, он запутался в лесу и сейчас случайно увидел Верхоглядова. А может быть он сознательно пробежал в лес, чтобы отрезать Юрию путь? Рассуждать об этом теперь бесполезно.

Ни одного патрона в автомате, а Юрий легко мог бы в эту минуту застрелить Нурри.

Память навсегда сфотографировала Верхоглядову лицо Нурри: багровое, жарко лоснящееся от бега, с резко выдающимися скулами и плоскими губами.

— Почему он не стреляет? — удивился Юрий.

Но Нурри надеялся сбить Верхоглядова, вдавить его в снег...

И снова сугроб резко оборвался. Юрий свернул к крутизне и, неожиданно присев, согнувшись в пояснице и подобрав к груди руки, упал на бок.

Нурри не успел свернуть, налетел на его поднятые ноги и, как подстреленный, рухнул в снег сломав левую лыжу.

Оглушенный паденьем, он барахтался в сугробе.

Верхоглядов, как топором по полену дров, тюкнул его автоматом по макушке и побежал дальше, чувствуя, что сердце поднимается к горлу, что на ногах висят пудовые гири, а снег и небо на горизонте сливаются в назойливо черную пелену.

Он выиграл бой, но, ощущая радость победы, он думал, что до финиша еще не дошел и озабоченно поправлял засунутую за пазуху полевую сумку финского офицера.

Ветер разорвал серое месиво облаков и Верхоглядов увидел звезды. Поглядывая на них, он уверенно шел вперед.

Изредка он нагибался, черпал рукавицей и жадно глотал снег. Он знал, что лучше бы ему не есть снег, но уже не мог совладать с собою.

И звезды померкли, предутренний туман затопил кусты, а он все бежал по лесу и ему казалось, что дороге не будет конца.

В пять часов утра он остановился и лег на снег. Не снимая лыж, он поднял вверх ноги, чтобы кровь отхлынула и мускулы отдохнули.

Ему захотелось спать.

Как бы хорошо очутиться в теплой землянке, выпить кружку крутого чая и завалиться спать.

Но через минуту он вновь поднялся и пошел на юговосток, к линии фронта.

За озером Волчий Клык он попал в густую чащу. То и дело ему приходилось нагибаться и подлезать под длинные ветви сосен.

Теперь ему нужно было идти особенно тихо: он подошел к передовой линии финских постов.

И вдруг на него обрушилась какая-то тяжесть.

Он зашатался, потемнело в глазах и он упал, на мгновение потеряв сознание.

Когда он очнулся, то почувствовал, что на нем сидит, глубоко вдавив его тело в снег, какой-то человек и противно холодными руками крепко сжимает его горло.

Юрию удалось высвободить голову, он судорожно вцепился зубами в руку, а затем приподнялся и бросился вперед, волоча лежащего на нем человека. Но вновь он был опрокинут на снег.

Он устал, он смертельно устал и уже не мог теперь бороться.

Неужели он погиб? Неужели так глупо он проиграл эту игру и полевая сумка офицера опять попадет в руки финнов?

— Вре-ешь, теперь не вырвешься! Не кусайся собака, не кусайся! — проговорил над его ухом знакомый сиплый голос.

— Ленька! — завопил Юрий во все горло, забыв об осторожности.

Руки, вцепившиеся в него, ослабли, он встал и с наслаждением взглянул на веснушчатое, хитрое лицо Ленки Виноградова.

— Ну, знаешь, это свинство! — возмущенно сказал Юрий. — Ты чуть не задушил меня!

— А кусать руки тоже не по правилам, — возразил Виноградов, стряхивая снег с белого халата.

— Так тебе и надо, чор-рт! Нужно быть круглым идиотом, чтобы кинуться на своего.

— Откуда я знаю, что ты — свой? Ночь.
Лыжник. Я решил...

— Ты, Лёня, молодец! — тихо сказал Юрий. — Ты меня перехитрил. Мне не обидно. Честное слово, я рад, что у нас такие часовые.

И он торопливо пошел к штабу.

5

Открыв дверцу, Верхоглядов спустился в землянку. Ему предлагали товарищи сало, котелок щей, чай, но он лишь мотал головой. Одеревяненными пальцами он расстегнул пуговицы куртки и упал на нары.

— Каковы успехи? — спросил пулеметчик Галлиулин.

— Весьма средние, — скромно сказал Юрий. — На „снежную молнию“ — наплевать, клянусь вам, ребята, — наплевать! — Сейчас все иное... Постарел я чтоли, а, может быть, не об этом думаю, но нет во мне былого спортивного тщеславия. А вот полевая сумка финского офицера — это удача!

Бойцы с недоумением смотрели на своего товарища. Они ничего не поняли, но промолчали, потому что Юрий уже уснул.



СТЕПАН ПЕТРОВИЧ



1

В тот день, когда партизаны взорвали железнодорожный мост через реку Шумиловку, капитан фон-Груббе поклялся, что он собственноручно поймает и повесит на городской площади Степана Петровича, командира русского партизанского отряда.

— Мне надоело, — отрывисто сказал он лейтенанту Крейцеру. — Вот донесения за июнь тысяча девятьсот сорок третьего года. Партизаны этого Степана Петровича сожгли на шоссе три моста, взорвали в лесу на минах восемь грузовиков. Уничтожен гарнизон волости: два офицера и сорок четыре солдата. Убит комендант станции Обермюллер. Чор-рт! Когда конец этому? И теперь — железнодорожный мост! А приметы? „Степану Петровичу сорок девять лет, конторщик МТС, борода рыжая, хромает“. Из другой деревни сообщают: „Худой, бороду бреет, на левой щеке глубокий шрам“.

Лейтенант Крейцер недоверчиво посмотрел на желтое, опухшее от пьянства лицо фон-Груббе и уклончиво сказал:

— Задача трудная...

— Я сам повешу его на площади! — закричал капитан.

— И получите от фюрера рыцарский крест? — улыбнулся лейтенант. — Не забудьте: фон-Ведель тоже собирался поймать этого... Сте-па-на Петро-ви-ча. Его нашли в постели с перерезанным горлом!

— Фон-Ведель — слюняй! — крикнул капитан. — Ограниченная личности! В его планах не было фантазии.

— Желаю удачи! — иронически сказал Крейцер. — Выпьем!

Вечером фон-Груббе поехал на вокзал. Около развалин депо был устроен лагерь для крестьян, отправляемых на работу в Германию. В сопровождении оберфрейтора и двух автоматчиков капитан фон-Груббе вошел за проволочный забор.

На вытоптанной траве лежали оборванные, молчаливые люди. Мерно шагали вдоль заборов часовые, твердо ступая тяжелыми сапогами по песку. Они держали наготове автоматы. Капитан равнодушно посмотрел на худые, изможденные лица крестьян. Выплюнув окурок сигары, он остановился, положил правую руку на кобуру пистолета и сказал, отчетливо выговаривая слова:

— Господа русские крестьяне! Завтра вы будете отправлены в Германскую империю. Там вы будете иметь много работы и мало хлеба. Кто из вас знает Степана Петровича?—внезапно спросил он.—Кто? Крестьянин, помогающий мне поймать партизана Степана Петровича, не поедет в Германскую империю, а останется дома.— капитан хорошо говорил по-русски и гордился этим.—Он будет получать землю. Восемь десятин земли, корову, лошадь.

Серые облака, гонимые свежим ветром, плыли по белесому, цвета снятого молока, небу. Тени от облаков легко скользили по траве, по блестящим камням часовых, по неподвижно лежащим на земле людям, которые с каким-то удивительным спокойствием смотрели на капитана.

Коренастый, жилистый фон-Груббе вспомнил насмешливую улыбку лейтенанта Крейцера. Русские молчали. Это было тяжелое, упорное молчание, в котором таилась такая непреоборимая сила, что капитану стало страшно. Он сердито закричал:

— Кто знает Степана Петровича?

Фон-Груббе услышал глухой, далекий голос и облегченно вздохнул. С земли поднялся небрежно завернутый в грязные лохмотья человек. Солдаты настороженно вскинули автоматы. Не обращая на них внимания, человек быстро шел к капитану, перешагивая через лежащих крестьян, как через бревна.

Он остановился перед фон-Груббе—узкоплечий, стройный, в его русой бороде застряли золотистые

соломинки, грязная рубашка была разорвана и было видно загорелое, словно выкованное из меди, тело.

— Одна корова или две?—небрежно спросил он.

Удивленный капитан отступил на шаг, тревожно оглянувшись на солдат и визгливо крикнул:

— Что? Чего тебе надо?

— Я говорю, господин капитан, сколько коров обещаете: одну или две?—в его зеленоватых глазах блестели озорные искорки. — Если одна корова, это нам, господин офицер, несподручно. Дерьма коровьего мало! Землю удобрять надо. Восемь десятин! Сами понимаете. . .

Капитан фон-Груббе ничего не понимал.

— Ты знаешь Степана Петровича?

— Наслышан, — сказал человек. — Помилуйте, ваше благородие, такой геройский мужчина! Его целый полк жандармов ловил — и не поймали. . .

— Ты получишь две коровы.

— Вот это другой переплет!—весело сказал человек с зеленоватыми глазами. — Будем знакомы. Архип Вершинин, в знак обоюдного согласия, — и он протянул капитану черную руку.

— Прочь! — побагровел фон-Груббе. — Собака!

— Виноват-с! — испуганно сказал Архип, втягивая голову в плечи. — Советская власть разбаловала. . .

— Пошли!

Архип легко поддернул мятые, измазанные травой и глиной брюки и побрел за капитаном.

Внезапно недалеко просвистел камень, брошенный сильной рукой. Капитан проворно обернулся и поднял пистолет. Вскочив, русские возбужденно махали руками и кричали. Снова, с глухим свистом прорезая воздух, недалеко от капитана пролетел увесистый булыжник.

Что за люди! Минуту назад они неподвижно лежали на земле и молчали, хотя капитан обещал им свободу, землю, богатую награду. А они все знали Степана Петровича, — капитан фон-Груббе не сомневался в этом. Он опять почувствовал, что его охватывает какое-то смутное чувство страха. Здесь все было непонятным капитану. И облака непонятные. И эти люди. И эти леса, которые, казалось, готовы были ветвями деревьев своих душить немецких солдат. И этот красивый парень с озорными глазами.

Когда Архип покачнулся от удара кирпичом в плечо, капитан сказал: довольно!

— Солдаты дали залп в воздух, и русские крестьяне отступили.

— Камни? — спросил, надменно улыбнувшись, фон-Груббе.

— Русские люди не любят предателей, — спокойно сказал Архип, вытирая рукавом кровь со щеки.

2

По наведенным справкам оказалось, что Архип Вершинин был до войны бригадиром колхоза „Шелонь“, после прихода немцев занялся сапожным

ремеслом, в сношениях с партизанами не замечен.

Архип заявил, что ему необходимо на три дня уйти в деревню. Капитан фон-Груббе отпустил его.

— Поздравляю, — сказал Крейцер вечером. — Теперь он уйдет к партизанам.

— Я арестовал его семью, — объяснил со снисходительной улыбкой фон-Груббе. — Если он не вернется, я повешу на площади его жену и двух детей.

— А генералу пошлете рапорт, что повесили трех партизан?

— Что? — обиженно спросил фон-Груббе. — К чему эти слова?

— Мне наплевать на все, — миролюбиво сказал Крейцер, — я уезжаю в отпуск.

Архип вернулся.

Спокойно вошел он в кабинет фон-Груббе, вежливо поклонился и встал у притолоки.

— Все устроено в наилучшем виде, ваше благородие, — сказал он, пристально глядя на капитана. — Завтра Степан Петрович направляется в деревню Захарово.

— Один? — быстро спросил фон-Груббе.

— Помилуйте, — такая личность! Но мы устроим засаду. Вы, господин офицер, верхом умеете ездить?

— Дальше!

— А стреляете метко?

— Дальше, дальше! — нетерпеливо сказал капитан.

— Гранату бросать умеете?

— Я кадровый офицер германской армии, — выскомерно сказал фон-Груббе.

— Понимаю-с, — почтительно поклонился Архип. Задаю вопросы не из праздного любопытства, а из предосторожности... Значит, завтра утром!

— Одни?!

Капитан выпучил глаза и смущенно посмотрел куда-то в угол. Он не хотел, чтобы Архип заметил его испуганное замешательство. Но у Архипа было равнодушное, сонное лицо.

— Партизаны, господин, прямо пойдут на шоссе, а Степан Петрович один завернет на пасеку. Мы в яме на поле скоронимся. На поле не так страшно, как в лесу. Устроил все в наилучшем виде. Но, — он поднял палец с грязным ногтем, — из соображений благоразумия надо взять взвод конных жандармов.

Фон-Груббе надул мясистые щеки и густо, протяжно вздохнул.

— Ты есть умный человек, — сказал он поглаживая усы. — Я дам тебе много денег. Но если...

— Мне назад дороги нет, — Архип опустил голову. Камнями-то... Помните? А тут — две коровы!

Он нагло усмехнулся, в его глазах вспыхнули и мигом погасли озорные искорки.

— Иди, — строго приказал капитан.

* * *

День был жаркий. Над ручьем вверх по течению пролетела черная птица. Темные тени от облаков

плыли по высокой ржи. Монотонный глухой шум со-сен был слышен еще на шоссе. Архип и капитан шли по тропинке. Из предосторожности фон-Груббе шел позади Архипа. Пистолет он переложил из кобуры за пазуху мундира.

Бесшумно ступая босыми ногами по горячей земле, Архип, не оборачиваясь, тихо бормотал:

— Тут, ваше благородие, во ржи — яма. Ее с тропинки и не видно. Мы там засядем! Степан Петрович тут пойдет, а мы раз-два...

Неожиданно он остановился, сердито плюнул.

— Что? Говори! — прошептал капитан, вытаскивая трясущейся рукой пистолет.

Из леса вышла и по тропинке направилась навстречу им девушка в коричневом, стареньком сарафане. Приблизившись, она отошла от тропинки и почтиительно поклонилась капитану. Фон-Груббе с удовольствием оглядел ее. Миловидная русская девушка, на нежных щеках смуглый румянец. На груди девушки висел жетон с названием деревни: „Захарово“ и номером. Капитан запомнил: № 18.

— Ты что ходишь по лесу? — грубо спросил Архип. — У тебя есть разрешение по лесу ходить?

Он добавил несколько матерных слов.

На лице девушки появилось то выражение боязни, подавленности, отчаяния, которое иногда фон-Груббе замечал у русских детей и старух. А вот русские мужчины и женщины, нет, даже подростки всегда смотрели на капитана упрямо и гордо. Это обстоятельство уже давно раздражало фон-Груббе.

— Подожди, — великодушно сказал он Архипу. — Ты где была?

— Меня, господин офицер, староста посылал на пасеку, — робко сказала девушка. — Здесь нам разрешено ходить.

— В лесу никого нет? — спросил Архип.

— Нет.

— Ну, иди.

Едва девушка отошла, он громко прикрикнул:

— Подожди!

— Зачем? — растерянно спросил капитан. — Говори!

— Обождите, ваше благородие, — сказал, не оборачиваясь, Архип. — Здесь надо иметь точный баланс.

Учащенно дыша, капитан огляделся. В сущности ничего опасного еще не было. Он мгновенно оценил обстановку: до леса не менее восьмисот метров, в овраге взвод конных жандармов, готовых по установленному сигналу (пронзительный свист) притти на помощь. Следовательно, события развивались согласно намеченному плану...

Архип стоял впереди, вытянув загорелую шею, и жадно всматривался в темнеющий лес. Он бормотал матерные слова.

Рядом с капитаном стояла девушка в коротеньком сарафане. Потупившись, она глядела на свои покрытые пылью ноги. Невольно фон-Груббе опустил взгляд. Ноги у девушки были маленькие, красивые, покрытые золотистым пушком. Эта северянка

понравилась капитану. Он покрутил усы и молодежато крикнул. „Надо приказать коменданту...

Внезапно девушка выпрямилась и сильно, с размаху ударила фон-Груббе по горлу. Капитан пошатнулся, теряя дыханье. Еще страшный удар обрушился на его голову. Синие и красные круги поплыли перед его глазами. Они плыли все быстрее, все стремительнее и, наконец, слились в какой-то бурный багровый вихрь, и тогда он вытянул руки и рухнул лицом вниз на землю. Но и падая, он ясно видел, что Архип, не оборачиваясь, попрежнему стоит на тропинке и глядит в лес.

Очнувшись, фон-Груббе почувствовал, что он лежит на земле, руки и ноги его крепко связаны ремнем.

Архип на коленях стоял рядом, гимнастерка его была без пояса.

Девушка в коричневом сарафане, накручивая на палец ржаной колос, смотрела на небо. Она нетерпеливо говорила:

— Скорей, Архип, шевелись живее!

— Сейчас, Степан Петрович, — сказал Архип.

— Надо мне покруче стянуть господина капитана.

— Степан Петрович? — с ужасом закричал капитан. — Ты... Вы... Это вы Степан Петрович?!

Девушка улыбнулась.

— Это вы взорвали два моста?

— Нет, — серьезно сказала девушка. — Я взорвала три железнодорожных моста.

Капитан закричал. Он завыл, как волк, попавший в капкан. В бессильной злобе он извивался и корчился на горячей земле. Он визгливо вопил, брызгая слюною:

— Отпустите! Архип! Пять коров! Десять тысяч рублей! Хутор! На помощь! Сюда!

— Кричит! А? — удивленно сказал Архип. — Слышите, Степан Петрович? Кричит...

— Поздно, поздно, — нараспев сказала девушка. — Его жандармы уже перебиты.

— Как по нотам разыграли! — восхищенно произнес Архип, почесывая свою русую бороденку. — Ну, и рука у вас, Степан Петрович! Ослепительный удар! Мне все говорили: ленинградская физкультурница, чемпион... Я не верил. Я сейчас честно говорю: не верил!

— А ты не мог обойтись без матерщины, — попеняла его девушка.

Архип виновато вздохнул:

— Натура...

— Пошли!

— Пошли, Степан Петрович, — бойко сказал Архип. Он бережно поднял капитана фон-Груббе, взвалил его, как мешок с картошкой, на плечо и пошел вслед за девушкой в коричневом сарафане к лесу.

УЧИТЕЛЬНИЦА

Командиру партизанского отряда Константину Ивановичу сообщили, что в деревне Светлый ручей учительница Пахомова тайно от немецких властей организовала школу.

У Константина Ивановича было много повседневной трудной и опасной работы. Лишь в начале декабря тысяча девятьсот сорок третьего года он смог передать командование отрядом своему помощнику Алеше. С двумя партизанами на лыжах он пошел в деревню Светлый ручей.

Они шли ночью по лесам и промерзшим болотам, обходя встречные села и хутора.

Ночи были морозные. Партизаны сдирали с усов и бороды колючие комочки льда. Наст был крепкий „чугунный“. Это радовало партизан, лыжи легко скользили по сухому снегу.

Кованый из тяжелого серебра ковш „Большой медведицы“ выплескивал на черное небо струи ясных звезд. Синие снега покойно лежали среди сосен. Мохнатые, отяжеленные инеем ветви деревьев неуклюже торчали в вышине.

Константин Иванович думал, что эти глубокие снега согревают русскую землю, чтобы злые морозы не погубили таящиеся в ней зерна жизни. . .

Партизаны молчали. Молчание не тяготило их: они привыкли друг к другу.

К Светлому ручью они вышли утром. Константин Иванович остановился на опушке, поправил висящий на груди автомат. Похлопывая по бокам руками, чтобы разбудить оцепеневшую кровь, он долго глядел на деревню.

— Я пойду один, — сказал он, — а ты, Коля, останешься в резерве, тебе же, Саша, я поручаю обойти деревню и стеречь большак.

Избы, скрытые белыми деревьями, тянулись лентой по холмам. Радужно в лучах скудного солнца горели стекла окон. Тонкие струи голубоватого дыма, скрип журавля у колодца, вскрик петуха, брехливая воркотня собак, — часто приходилось Константину Ивановичу стоять поутру перед такими тихими русскими деревнями.

Едва он вышел из-за сосен, как раздался пронзительный свист, и он увидел мальчика, бегущего на лыжах по ложине к деревне.

На нем была широкая рваная шапка и ватная солдатская куртка, он бежал, сильно налегая на палки, и резко, залихватски свистел. Невольно Константин Иванович остановился и вскинул автомат. Он опасался, что немцы, проведав о его прибытии, устроили здесь засаду. Через секунду он проворно погнался за мальчиком, схватил его за

узкое плечо. Шапка упала на снег. Светлые волосы мальчика взвихрились. Константин Иванович посмотрел на пунцовые от стужи щеки, приплюснутый мокрый нос, злые глаза мальчика и тихо спросил:

— Ты зачем свистел?

Мальчик протяжно шмыгнул носом, и с размаха ударив кулачком по тяжелой руке Константина Ивановича, рванулся. Его худенькое тело напряглось так, что губы побелели.

— В деревне — немцы?

Полными слез глазами мальчик взглянул на Константина Ивановича и попросил:

— Пусти...

Константин Иванович не отпустил его. Мальчик быстро присел, впился зубами в руку Константина Ивановича между варешкой и полушубком.

От неожиданной боли Константин Иванович вздрогнул. Это не помешало ему заметить, что из большого пятистенного дома с зеленой крышей выбежали шумной гурьбой дети. Натягивая шубейки, с непокрытыми волосами, они хватали стоящие у забора лыжи и санки и разбегались по проулкам и огородам.

Константин Иванович добродушно рассмеялся.

— Коля, иди сюда, я отыскал школу, — сказал он и отпустил плачущего мальчика.

— У нас нет школы! — звонко крикнул тот.

— Правильно говоришь, — похвалил мальчика Константин Иванович, — я прощаю твои слезы. Как тебя зовут?

— Сережа.

— Я партизан, Сережа, не бойся, веди меня в школу.

— Ну, много вас ходит, — грубо сказал Сережа, — в Озерки вот пришли люди, говорят „мы партизаны“, а повесили Митюху Васильева. У нас нет школы!

— Я доволен тобою, Сережа, — сказал серьезно Константин Иванович, положил на плечо лыжи и крупными шагами пошел к дому.

На крыльцо дома вышла невысокая, полная женщина в синем платье. Ее седые волосы были тщательно расчесаны, на плечи была накинута белая пуховая шаль. Тревожным взглядом она встретила Константина Ивановича.

— Если я не ошибаюсь, вы учительница Пахомова, — сказал, снимая шапку и низко кланяясь, Константин Иванович.

— Я бывшая учительница, — холодно сказала женщина, — разве вы не знаете, что немецкие власти закрыли школу, я занимаюсь сельским хозяйством.

— Я командир партизанского отряда. Ваш ученик Сережа ..

Старушка вздрогнула и посмотрела на мальчика.

— Нет, он ничего не сказал, молодец! — он прокусил мне руку, — показал Константин Иванович кровавый след мелких зубов на руке. — Я даже простил, что он — такой большой мальчик — заплакал. Ты слышишь меня, Сережа?

Стоявший за его спиною мальчик смущенно ответил:

— Да.

— Здесь нет никакой школы, — твердо повторила женщина, глядя на автомат Константина Ивановича.

— Мы не берем у Красной Армии оружия, это было бы неблагоразумно, — успокоил ее Константин Иванович, — у нас немецкие автоматы. Пусть не беспокоит вас это обстоятельство, уважаемая...

— Елена Владимировна.

— ...уважаемая Елена Владимировна.

Он неотрывно глядел на темное, морщинистое лицо Елены Владимировны, усталые, тревожные глаза ее и чувствовал, что она начинает ему верить.

— У вас был ученик Семен Никодимов?

— Да, он хорошо учился по географии — живо откликнулась Елена Владимировна, — но сразу же осеклась и угрюмо добавила: — Зачем вспоминать о нем?

Константин Иванович сделал вид, что не заметил этого.

— Семен Никодимов погиб при нападении моего отряда на немецкую комендатуру, — сказал он.

— Идемте в дом, — ровно и тихо проговорила Елена Владимировна, — я верю, у вас глаза — совестливые! У немецких агентов, — а есть такие, есть! — глаза шныряют, как мыши, и руки всегда потные, даже на морозе...

Смахнув веником снег с валенок, Константин Иванович вошел по застланному половиками светло-блестевшему полу в горенку, неуклюже — в полушубке и ватных штанах — присел на стул.

— Я не хочу, чтобы вы долго оставались в деревне, это опасно, не так ли? Коротко. Я не могу жить без школы и пока жива — школа будет действовать. Плохо лишь, что у нас один учебник: история Шестакова. Немцы все книги сожгли. Вот по этому учебнику мы и проходим русский, арифметику и прочие предметы. Это и понятно, мы все живем историей России, не так ли? Учебник я разорвала на листочки. У каждого ученика один листок. Он его прячет в укромном месте.

— Это правильно, — одобрил Константин Иванович и неожиданно для себя закашлял. У него была сильная воля, но сейчас он мог заплакать.

— А у меня хранится одна святыня, — так же ровно и мерно говорила Елена Владимировна, стоя у окна. Ее лицо просветлело, от чего морщины стали глубже и темнее. Улыбаясь, она сообщила:

— Это портрет товарища Сталина, сейчас я вам его покажу.

Она легко вышла, быстро вернулась и показала вставшему Константину Ивановичу крохотный, вырезанный из газеты портрет Сталина.

— Не думайте, что этого мало для нормальной деятельности школы. Учебник истории и образ Сталина, — дети на этом великолепно, я бы сказала, творчески понимают смысл всех событий.

— И еще одно: ваша душа, Елена Владимировна, — сказал Константин Иванович и зачем-то провел рукою по лицу.

— Ах, не будем говорить об этом, — вздохнула учительница, зябко кутаясь в платок, — я здесь преподаю тридцать четыре года. Иногда тяжело — немцы... но у меня — дети...

Лампада кротко мерцала перед образами. Синий отсвет от сугробов в палисаднике наполнял комнату. Кошка вышла из-за перегородки, понюхала валенки Константина Ивановича, замурлыкала.

— Вы, вероятно, сами так много пережили...

— Мне двадцать три года, — сказал он, — я зоотехник из Порховского района.

— Вас старит борода, — смутилась Елена Владимировна.

Константин Иванович шагнул вперед.

— Разрешите мне побеседовать с детьми, — попросил он. — Мои часовые на шоссе и в лесу.

— Я буду очень рада. Это окажет на детей благотворное влияние, — и Елена Владимировна негромко позвала: Сережа!...

Скрипнула дверь, выглянула вихрастая светловолосая голова, задорно сверкнули глаза мальчика.

... На полу, на стульях, на сундуке перед Константином Ивановичем сидели дети. Вот девочка такой строгой и чистой красоты, что только словами древней песни и можно рассказать о ней. А этот еще совсем пухлый, толстогубый малыш — во-робей. Рябая Соня с печальными глазами. Узна-

Константин Иванович, что ее отца повесили немцы, а брат погиб на войне. У дверей, как часовой, стоял настороженный Сережа. Петька-черкес с багровой царапиной через тугую, как яблоко, скулу жадно рассматривал автомат Константина Ивановича.

— Ребята, — сказал Константин Иванович охрипшим от стужи голосом, — зимою лед покрывает реки и озера. Умирает ли подо льдом вода?

— Нет! — тотчас уверенно сказал Сережа и все дети, как птичья стая, звонко закричали:

— Нет! Нет!

— Почему?

— Вода живая, — сказала Соня с печальными глазами и густо покраснела.

— Так и советская власть, ребята! Сейчас кругом — немцы, злые враги. А советская власть — живая, ибо она в вас, дети, в ваших отцах и матерях, в вашей учительнице Елене Владимировне, в нашем партизанском отряде...

* * *

Однажды утром гул самолета заставил Елену Владимировну подойти к окну. Низко над избами медленно кружил самолет. Он был неуклюжий, похожий на книжную этажерку, мотор тарахтел, словно швейная машина. На крыльях были красные звезды. Елена Владимировна подышала на окно, протерла платком мутное стекло и снова посмотрела. Ровными кругами плыл самолет, на крыльях — красные звезды.

Она поняла, что летчик высматривает с высоты, нет ли в деревне немцев.

Зыдыхаясь, она вытащила из комода красную в розах ковровую шаль, накинула ее на плечи, выбежала из дома, остановилась по середине улицы.

Рокот мотора затих в вышине. На широко распростертых крыльях, словно птица, скользнул вниз самолет, два больших тюка выпали из кабины, ветер снес их в овраг.

И Елена Владимировна побежала за ними. Она не видела, как махнул приветливо ей рукою летчик, как скрылся за облаками самолет. Она бежала, увязая, барахтаясь в глубоком снегу, падала и снова поднималась. Два больших, зашитых в холст и туго стиснутых бечевками тюка лежали у корней сломанной березы. Крупными буквами на них было написано: „учебники, тетради, карандаши русским школьникам деревни Светлый ручей — от А. А. Жданова“.

Елена Владимировна стояла на коленях на снегу не чувствуя, как холод обжигает ноги и с бьющимся сердцем ждала бегущих к ней из деревни детей.



НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ



На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко: печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою.
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

А. ПУШКИН

Разведчики, осторожно перебегая от дерева к дереву, шли к Крестовоздвиженскому монастырю, расположенному за полустанком.

Бой был окончен. Полк, взяв стремительной атакой районный город Н., уходил вперед, в тыл противнику.

Позади догорали станционные постройки и дома железнодорожников. Багровые отблески зарева бороздили темное небо.

В стороне от дороги, за монастырем, стоял низкий дом с красной черепичной крышей. Немцы не

успели во время бегства сжечь его. Красноармеец Андрей Мальков случайно заметил крышу дома, и разведчики решили на всякий случай заглянуть сюда.

Дом был пуст. Тоскливо было ходить по комнатам, в которых валялись битая посуда, пустые бутылки, тряпки, ломаная мебель.

В столовой, недалеко от выложенной синими изразцами печки стоял рояль. Мальков приподнял крышку и одним пальцем проиграл „чижика“. Потом он надавил всей пятерней клавиши, послушал, как долго гудят, постепенно затихая, струны и пошел в другую комнату.

Мальков работал до войны сапожником в Торжке. Он был высокий, неуклюжий, двигался медленно, а когда разговаривал с бойцами, то мечтательно улыбался, глядя куда-то в вышину.

— У меня тихое ремесло, — говорил он. — Я сижу на скамеечке и работаю, а дочь Анюта, моя старшая дочка, сидит у окна и вслух читает мне книгу. Я в школе учился только четыре года. Она меня перегнала, — кончает пятый класс. И я не хочу отстать от дочери, мы вместе читаем одни книги...

Разведчики на кухне разожгли плиту, принесли в котелках снега (воду из колодца не брали, опасаясь, что она отравлена) и начали готовить завтрак.

А Мальков бродил по комнатам низкого дома, любуясь синими и оранжевыми изразцами печей, поднимая время от времени с пола и разглядывая рваную консервную банку с норвежской яркосиней этикеткой, детский передничек, калошу.

„Ай, ай, ай! — думал он, горестно качая голову, — все ограбили, все разорили. Вороги лютые! Разбойники! А в монастыре пленные красноармейцы порубаны“.

У стены стояло высокое бюро красного дерева. Мальков машинально провел тяжелой рукой по приятно прохладной доске и внезапно под его пальцами что-то резко щелкнуло. Он так испугался, что сердце екнуло! Открылась узкая дверца, и он увидел внутри бюро потайной ящичек с какими то бумагами. Неведомо почему Мальков боязливо оглянулся. . . Паспорт Ивана Михайловича Матюшина шестидесяти трех лет. Удостоверение директора краеведческого музея И. М. Матюшина. Орденская книжка и бережно завернутый в шелковый платок орден Трудового Красного Знамени.

В комнате было так тихо, что Мальков слышал биение своего сердца. Письма. . . И маленькая книжечка в кожаном переплете. Молитвенник? Нет, стихотворения Пушкина.

Мальков относился к книгам с глубочайшим уважением. Он был одним из самых прилежных читателей библиотеки города Торжка. Взятые в библиотеке книги он заворачивал в белый платок и осторожно нес к дому.

Приходя в библиотеку, он всегда строго спрашивал Марию Николаевну:

— Дрова Никольчук к зиме припас?

Школьный товарищ Малькова, бывший бондарь Никольчук был председателем городского совета.

— О дровах не беспокойся! — отвечала Мария Николаевна, сквозь старинное, в черепаховой оправе, пенсне глядя на Малькова. — Дрова запасены. Как дочь?

— Отличница! Первая моя надежда и слава...

Он раскрыл книжечку, и из нее выпала бумажка. Нагнувшись, Мальков поднял ее. Бумага была светлоголубая, глянцевиная, с отчетливо видимыми водяными знаками. И мелким почерком были написаны удивительные слова:

На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко: печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.
Я твой попрежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний...

Многие строчки были несколько раз перечеркнуты, а на полях небрежными штрихами была нарисована женская головка. Мальков провел пальцем по бумаге и почувствовал, как крохотными бугорками выступают буквы. Он снова тихо, очень тихо прочитал стихотворение.

Теперь ему было хорошо, спокойно. Он вспомнил заросший лебедой сад, колыхающиеся от легких дуновений ветра ветки цветущей яблони; вспомнил

голубей, кувыркающихся в синеве неба, густое гуденье пчел.

Он увидел жену, идущую по саду, в синем сарафане, босую. В руке она держала ведро, полное светлой ключевой воды, — родник протекал в овраге, за садом...

Мальков приоткрыл дверь на кухню и сказал испуганно:

— Ребята, я Пушкина нашел!

— Пушку?

И бойцы вскочили, а Васька Евстигнеев опрокинул чайник и по половицам поползла густая, коричневая лужа.

— Пушкина, дураки господа бога! — громко сказал Мальков. — Слушать нужно! Стихи Александра Сергеевича Пушкина!

— Покажи! Покажи!

Он развернул и показал издали бумагу, но, когда к нему потянулись руки, быстро отошел.

— Ни-ни! — строго сказал он, выкатывая желтые глаза. — Это же — рукопись! Видишь, Васька, это его рука!

— Прочитай, — попросил Васька Евстигнеев.

И волнуясь, запинаясь, Мальков прочитал стихотворение, равномерно махая правой рукой. Иногда он прерывал чтение и, застенчиво улыбаясь, глядел на бойцов.

— Да, это Пушкин! — сказал Васька Евстигнеев. — Я вспомнил! — Он на мгновение закрыл глаза и глухо повторил: — Тобой, одной тобой... Какие

замечательные слова! Но последние строчки не Пушкина!

— Как это не Пушкина? — оторопел Мальков.

— Я точно знаю: в книге — восемь строчек! А последних слов в книге нет!

— Но ведь рука-то его! Его! Во всех сочинениях Пушкина есть снимки с его рукописей. Разве забыл? — сказал Мальков. — Я сам помню это стихотворение со школы, но не точно. Может быть, это что-либо иное и такого до сих пор ученые не знали, а потому и не печатали в книгах?

— А где ты нашел? — спросил Васька, с уважением глядя на Малькова.

— В тайнике. Здесь жил ученый Иван... Иван Михайлович Матюшин, директор музея. Я отыскал все его документы, сейчас принесу... Орден! Старика товарищ Калинин орденом наградил. А немцы его на костре сожгли...

В этот миг Мальков искренно верил в правдивость своих слов. Затем он подумал и добавил:

— Или в рабство угнали... Он не хотел отдать немцам стих Пушкина, прятал его, берег для нас. Погубили старика...

Он протяжно вздохнул.

— Ты спрячь бумагу, за нее можно взять большие деньги! — сказал связной Шкалик.

— Разве я о деньгах думаю? Эх, ты! — сказал Мальков, горько усмехнувшись. — Это драгоценные слова! Мне говорили, что в музее как святыню

берегут все рукописи Пушкина, его перо, шляпу, мебель.

Васька подав Малькову кружку чая и ломоть черного хлеба с добрым куском сала. Стоя около плиты, Мальков подкрепился, а затем вышел на крыльцо.

Было тепло и падал мелкий снег; в удивительной тишине опускались на сугробы хлопья снега.

Тропинка, которую проложили бойцы к дому, была уже занесена. Неподвижно, ровными рядами стояли сосны, как часовые в белых халатах.

— Мне грустно и легко: печаль моя светла, — сказал Мальков и возбужденно засмеялся.

Как странно, что в детстве он читал это стихотворение, но оставался равнодушным, не понимая и не чувствуя силу любви. А Мальков не был черствым человеком. Часто на охоте он, забыв о добыче, не слушая лая собаки, садился на траву и мечтательно глядел на деревья, реку, небо. Но природа существовала помимо Малькова; вернувшись домой, он в хлопотах повседневных дел забывал о тенистых березовых рощах, о темных, сырых лесах, о тихом течении реки. А сейчас слова Пушкина были в нем, в его душе, они превратились в его собственные слова, мысли и чувства.

Но пора было идти дальше. Мальков провел рукою по лицу и разом как бы стер улыбку, воспоминания о семье, все то чувство мечтательного покоя, нежности, счастья, которое ему дало стихотворение.

— Встать! — приказал он, входя на кухню. —
К оружию!
И бойцы, гася цыгарки, взяли винтовки.

2

Путь к штабу лежал берегом реки. Медленно шли, увязая в снегу, усталые бойцы. Мальков шел последним; изредка останавливаясь, он снимал шапку и, зачерпнув рукавицей рыхлый снег, прикладывал его ко лбу.

Неожиданно вспышка выстрела сверкнула на противоположном берегу. Свист пули ошеломил Малькова. Бойцы упали на снег. А место ровное, укрыться негде. И застонал раненый Мальков, царапая руками снег и поджимая к животу ноги.

— Вася, — сказал он негромко, прислушиваясь к равномерному треску немецких автоматов, — так нас всех уложат. Гранаты!

И, вскочив, Васька Евстигнеев изо всей силы швырнул гранату через реку.

Серебристая корка льда, кое-где занесенная снегом, треснула, и черная, звездообразная полынья вмиг наполнилась бойко бегущей водой.

— Дальше! Дальше! — крикнул из последних сил Мальков.

И все бойцы, услышав голос командира, с разбега бросили через реку гранаты.

И снова тишина зимней ночи была вокруг;

светились кротким, меркнувшим светом снега. Негромко, монотонно журчала вода в полынье.

— Андрюша! Жив?

— Больно мне, Вася, — сказал Мальков.

Васька поднял его и, взвалив на спину, пошел, проваливаясь по колено в снег, к шоссе, по которому тянулись автомобили, танки, походные кухни, орудия.

3

В перелеске одиноко стояла небольшая избушка, занесенная до крыши снегом. К ней уверенно шел Васька Евстигнеев, приминая сильными ногами снег и прокладывая путь команде разведчиков.

Неожиданно из избушки вышел человек в белом маскировочном халате.

— Кто идет? — спросил он по-немецки.

Васька упал в снег и, размахнувшись, бросил гранату в открытую дверь.

Избушка осветилась изнутри, словно от вспышки магния, немец в белом халате неподвижно лежал у порога и, надо полагать, жизни его осталась одна минута, не больше.

А из сторожки выбегали уцелевшие солдаты и скрывались в лесу. За ними спешил офицер. Меткая пуля разведчика опрокинула его.

Приподнявшись, Васька оглянулся и разом мучительная боль пронзила все его тело, он был на вылет ранен в плечо.

Он лежал один на снегу, разведчики занимали рубеж позади, немцы с высоты били в упор, пуля сбила каску; он стиснул от боли зубы, но мускулы были еще крепки, а мысли отчетливы.

И когда Васька увидел ползущего к нему немца, то притоптал ногами снег, чтобы была твердая опора и выдвинул вперед винтовку.

Немец прыгнул, широко раскинув руки, — огромный, уродливый, похожий на паука. Вскочив, Васька со страшной силой вонзил штык в грудь фашиста так, что сталь штыка блеснула за спиной солдата.

Разом стихли выстрелы, и та угнетающая, тревожная тишина, которая бывает только на войне, спустилась в перелесок.

Разведчики вели под руки Ваську к дороге. Он шатался и его удивляло, что снег под ногами со стремительной быстротой меняет свои цвета: он был то синий, то красный, то черный и на мгновение снова прежний — белый.

Около санитарного пункта стоял автомобиль с потушенными фарами.

— Пустите, ребята — сказал Васька. — Разрешите обратиться, товарищ майор?

— Говорите!

— Дело вот какое: нашел Андрей Мальков, вы же его знаете, в пустом доме у монастыря стихи Пушкина. Подлинную рукопись. Ведь это очень ценная вещь.

— Где же она? — быстро спросил майор.

— У меня! Я вас искал днем... А потом в разведку ушел.

— Вы ранены?

— Он ранен, товарищ майор, — сказал Батура.

— Так несите его скорее в землянку! Доктор!

На нарах, вблизи жарко нагретой печи, положили Ваську. Пока доктор разрезал ножницами его рубашку, майор, бережно вынув из бокового кармана гимнастерки завернутую в чистый носовой платок рукопись, присел около фонаря.

— Да, да! Пушкин! Подлинная рукопись, водяные знаки, бумага... Но стихотворение известное!

— Нет, последние строки иные. Таких строк нет в книгах, это я знаю точно. Ведь я читал: поэты пишут стихи долго, они мучаются словами и много раз переделывают пока не получится хорошо.

— Ч-чорт! — сказал майор. — И в самом деле, вариант! Но даже если это и напечатано — автограф очень ценен. Я завтра буду в штабе; если разрешите, я возьму рукопись и лично пошлю в Академию Наук.

— Пожалуйста, товарищ майор, буду благодарен вам, но укажите, что нашел эту бумагу Мальков, — сказал Васька.

— Вам нетрудно говорить? Расскажите мне коротко, где вы нашли автограф?

Выйдя из землянки, майор выпрямился, с наслаждением вдохнул чистый, студеный воздух и долго

стоял под темным небом, и хорошо у него было на душе.

— Тобой, одной тобой...

4

Приятно было лежать в теплой комнате, среди тишины, приятно было чувствовать, что, несмотря на тяжелое ранение, его крепкое тело сохранило свою силу. Жизнь снова возвращалась к Малькову. Он еще не мог ходить; вечером, когда поднималась температура, было трудно взять со столика стакан, но он мог думать, читать газеты, слушать музыку.

В выходной день в госпиталь приехали артисты. Скрипач долго играл раненым бойцам какие-то веселые марши, пока пулеметчик Судейкин не крикнул ему:

— Что вы, товарищ артист, боитесь играть серьезную музыку? Разве здесь свадьба?

Скрипач смутился, пробормотал что-то невнятное и, положив щеку на скрипку, полузакрыв глаза, начал играть, уже совсем другое: не печальное, а серьезное, близкое всем бойцам глубиной и силой чувства, потому что только для людей, слабых сердцем, только для трусов существует особая—тоскливая музыка. Для мужественного человека печаль и радость в искусстве сливаются, составляют единую, неразрывную суть всей жизни.

— Это поэма о любви,—сказал неожиданно скрипач.—О любви, которая сильнее смерти. По-

нятно?—спросил он каким-то ужасно неестественным голосом.

— Чего ж тут не понять!—добродушно улыбнулся пулеметчик Судейкин.—Как Анна Каренина!

Скрипач покраснел, с досады закусил губу, но, поняв, что лучше ему играть, чем говорить, снова вскинул скрипку, и теперь он играл с поразительным мастерством, его желтое от ночной работы лицо побледнело.

Мальков не знал подробно, кто такая Анна Каренина,—ведь он учился в школе лишь четыре года, а его дочь Аня по требованиям школьной программы еще не читала этого произведения.

Но теперь у него в памяти было стихотворение, найденное в пустом доме. „Тобой, одной тобой“ — прошептал он, и его охватило чувство полноты и удовлетвореня жизнью, счастья, сознания, что на войне он ни разу не струсил, не отступил, что его разведчики шли впереди полка, а он шел впереди разведчиков, что сейчас ему нечего стыдиться своих поступков и своих мыслей.

Через несколько дней в палату пришла сестра милосердия и подала Малькову конверт из плотной белой бумаги со штампом: „Институт литературы Академии Наук СССР“.

— Уважаемый товарищ Мальков! — прочитал он.—Благодарим Вас за присланные стихи А. С. Пушкина. Это не подлинная рукопись Пушкина, а особым типографским способом (фототипия) изготовленная копия: точное, вплоть до бумаги и водяных знаков

воспроизведение автографа. Еще до войны Академия Наук издала таким образом альбом важнейших рукописей А. С. Пушкина, чтобы подлинные рукописи (автографы) не подвергались всяческому случайностям, а ученые могли по этим копиям изучать творчество великого поэта. Нам очень приятно и радостно, что Вы, товарищ Мальков, на войне во время боевых действий, так заботливо, так любовно...

Дальше он не стал читать. Все было понятно. Его только удивило, как узнали в Академии адрес. „Должно быть Васька написал“, — подумал он: Сунув конверт под подушку, Мальков лег и натянул на голову одеяло. Он не испытывал ни разочарования, ни обиды. Ведь он и Васька сделали то, что должны были сделать, и что, по мнению Малькова, на их месте сделал бы каждый боец.

А этот листок голубоватой бумаги, тесно заполненный короткими строчками, вернул ему стихотворение, которое он читал в детстве равнодушно, а теперь с таким волнением.

Он думал о великой силе любви, выраженной в пушкинских строках, нежно вспомнил жену, дочь и чувствовал, как крепнут его собственные силы.

★

1945 г.
АНТ № 645
Вкладн. л. _____

Лш 9046

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Офицерская дружба	3
Странный характер	41
Прыжок в неизвестное	54
Победитель	77
Степан Петрович	97
Учительница	108
На холмах Грузии	117



Редактор *А. Н. Пази*

Корректор *Е. Х. Исаева* Техред *Р. Г. Польская*

Сдано в набор 5/XI—1944 Подписано к печати 9/I 1945 Бумага 60×92¹/₂
Учет. авт. 4,37 Печ. лист. 4¹/₈ Знаков в печ. л. 21,280 Индекс № 296
Зак. 4901 Тираж. 10.000 М—00318

Тип. № 2 Управления издательств и полиграфии Ленгорисполкома

45-1776/15

Цена 3 р. 50 к.

4576

$\Lambda 30 \frac{\Gamma-1}{362}$